МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЭЖЕН ФРАНСУА ВИДОК

ЗАПИСКИ ВИДОКА, НАЧАЛЬНИКА ПАРИЖСКОЙ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ. Т. 2



Эжен Франсуа Видок

Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции

В трех томах

Том второй



Москва
Берлин
2019

УДК 821.133
ББК 84(4=471.1)
В42

Видок, Эжен Франсуа

В42 Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. В 3 т. Т. 2 / Э. Ф. Видок ; [пер. с фр.] — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 271 с.

ISBN 978-5-4499-0352-5

Эжен Франсуа Видок (1775–1857) — основатель Главного управления национальной безопасности Франции.

Вниманию читателя предлагаются «Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции» — мемуары первого в Европе частного детектива и неоднозначной личности. Авантюрное прошлое и недюжинный талант к перевоплощению делают из французского злоумышленника грозу преступного мира. События, описанные в книге, изложены живо и красочно, что позволяет в полной мере насладиться колоритом и нравами криминальной Франции того времени.

Многолетний опыт Видока, нашедший свое отражение в воспоминаниях автора, послужил огромным толчком к развитию детективного жанра и стал источником вдохновения для других писателей.

УДК 821.133
ББК 84(4=471.1)

ISBN 978-5-4499-0352-5

Глава двадцать вторая

Г-н Анри прозван «Злым гением». — Берто и Паризо. — Несколько слов о полиции. — Моя первая поимка

Имена барона Пакье и г-на Анри никогда не изгладятся из моей памяти. Эти великодушные люди были моим Провидением! Как многим я был обязан им! Они возвратили мне жизнь, если не более. Для них я готов был подвергнуть себя тысяче опасностей, и мне поверят, если я скажу, что часто я рисковал собою, чтобы добиться от них ласкового взгляда, одного слова похвалы. Наконец-то я дышу, я двигаюсь свободно; мне более нечего опасаться: сделавшись тайным агентом, у меня явились священные обязанности, в которые посвятил меня достойный г-н Анри — в его собственно руках находилась обязанность блюсти безопасность в столице. Круг моих действий ограничивался предупреждением преступлений, открытием преступников, выдачей их в руки правосудия. Задача была нелегкая. Г-н Анри взял на себя труд руководить первыми моими шагами; он устранил для меня много затруднений, и только благодаря его советам и урокам, мне удалось впоследствии приобрести известность в полиции.

Одаренный хладнокровным, сосредоточенным характером, г-н Анри в высшей степени обладал наблюдательной способностью, тем тактом, благодаря которому можно распознать преступление под видом невинности. Он был одарен обширной памятью и изумительной зоркостью, — ничто не ускользало от него. К довершению всего, он был замечательным физиономистом. Мошенники называли его «Сатаной» или «Злым гением», и он во многих отношениях заслуживал это название — в нем соединялась необыкновенная кротость с хитростью. Редко случалось, чтобы важный преступник выходил от него, не признавшись в своем преступлении или не доставив помимо своей воли каких-нибудь веских улик. У г-на Анри был известный инстинкт, который помогал ему

раскрывать истину, это была врожденная способность, которая не всякому дается. Его приемы не всегда были одинаковы, они менялись, сообразуясь с обстоятельствами. Никто более него не был предан своему делу; он, как говорится, погрузился в него по горло — в каждый час дня и ночи он был к услугам общества. Тогда не существовало порядка приходить в канцелярию в двенадцать часов и проводить в ожидании целых полдня, как это делается теперь. Страстно привязанный к своему делу, он не боялся усталости; поэтому-то, после тридцатипятилетней службы, он подал в отставку, удрученный болезнями. Часто мой начальник проводил целые ночи, обдумывая инструкции, которые намерен был дать мне, и соображая средства быстрого предупреждения всевозможных преступлений. Серьезные болезни даже не могли прервать его трудов, — тогда он занимался, не выходя из своего кабинета. Словом, это был человек, каких мало. Одно имя его заставляло содрогаться преступников; приведенные к нему на допрос, они почти всегда смущались и путались в ответах; все они были убеждены, что он читал в их душе. Мне часто случалось замечать в жизни, что способные люди никогда не остаются одни и всегда находят себе помощников, может быть, в силу старинной пословицы: «Каков поп, таков и приход». Уж не знаю, но Анри имел сотрудников, достойных его. В числе их был некто Берто, весьма искусный следователь. Он обладал особенным уменьем схватывать суть дела, какое бы оно ни было: его трофеями были бумаги префектуры. Упомяну, кстати, о начальнике тюрем Паризо, который весьма удачно помогал Берто и заменял его. Словом, гг. Анри, Берто и Паризо образовали настоящий триумвират, который беспрерывно вел подкопы под мошенников. Они задались благородной целью искоренить разбой, доставив населению великого города полную безопасность — и результаты их деятельности вполне соответствовали их надеждам и ожиданиям. Правда, что в это время между начальниками полиции

существовала полная откровенность, согласие и единодушие, которые исчезли с течением времени. В настоящее время начальники и чиновники относятся друг к другу с недоверчивостью и подозрением, все опасаются друг друга — между ними непрерывная вражда. Всякий смотрит на своего собрата, как на доносчика, словом, нет и тени согласия между органами администрации. Откуда это происходит? Уж не от того ли, что не существует более тесного разграничения между кругом действия каждого должностного лица, не от того ли, что все, начиная с высших властей, не на своем месте? Обыкновенно, при вступлении в должность сам префект совершенно чужд полиции и поступает, так сказать, в учение, в качестве высшего сановника. За собою он тянет целую свиту клевретов и протеже, самые лучшие из них отличаются полным отсутствием самостоятельности и каких-либо выдающихся качеств; за неимением лучшего дела они льстят своему покровителю и не допускают, чтобы до него доходила истина. Таким образом, под тем или другим начальством я видел, как организовалась или вернее расстраивалась полиция. Всякое перемещение или новое назначение префекта вводило в нее целую толпу неумелых новичков и, напротив, удаляло многих опытных деятелей.

Позднее я буду иметь случай упомянуть о последствиях этих перемен, вызываемых одною лишь необходимостью доставлять содержание креатурам первого пришельца. А пока я снова берусь за нить прерванного рассказа.

Как только я вступил в должность сыщика, я стал усердно рыскать по городу, чтобы иметь возможность работать с пользой. Мои экскурсии заняли у меня около 22 дней, в продолжение которых я приготовлялся к действию и изучал почву. В одно утро меня призвал к себе начальник дивизии: требовалось отыскать некоего Ватрена, обвиняемого в подделке монеты и банковых билетов. Ватрен уже раз был заарестован инспекторами полиции, но, по обыкновению, они

не сумели устеречь его. Анри дал им все надлежащие указания, чтобы навести меня на следы; к несчастью, указания эти были не более, как одни данные о его старинных привычках. Все места, которые он посещал, были мне указаны, но невероятно было, что он скоро туда вернется, так как в его положении благоразумие предписывало ему избегать тех мест, где его знали. Поэтому мне оставалась одна надежда — добраться до него окольными путями, как вдруг я узнал, что он оставил свои вещи в меблированном доме на бульваре Монпарнас, где жил прежде. Предполагали, что рано или поздно он непременно явится, чтобы потребовать их, или, по крайней мере, вытребует их через посредство кого-нибудь другого — это также было мое мнение. Приняв это за исходную точку своих поисков и узнав, где находится этот дом, я устроился в засаде и сторожил там неустанно день и ночь всех входящих и выходящих. Мои наблюдения продолжались уже целую неделю; наконец, утомленный и раздосадованный, я задумал взять в сообщники домовладельца и нанять у него квартиру, где я и поселился с Аннеттой, присутствие которой могло устранить все подозрения. Я уже находился на этом посту недели с две, как вдруг однажды вечером меня уведомляют, что Ватрен явился в квартиру в сопровождении какой-то другой личности. Чувствуя себя не совсем здоровым, я лег раньше обыкновенного; при этом известии я быстро вскакиваю, схожу с лестницы почти бегом, но, как я ни был быстр, однако мог догнать только товарища Ватрена. Я не имел права арестовать его, но предчувствовал, что, напугав его, я могу добиться от него кое-каких сведений. Я схватываю его, осыпаю угрозами, и он спешит признаться мне, дрожа всем телом, что он башмачник и что Ватрен живет с ним в улице Mauvais Garsons № 4. Более мне ничего не нужно. Впопыхах я успел надеть только старый сюртук поверх рубашки, но беспорядок в туалете не остановил меня. Не переменяя платья, я лечу по сообщенному мне адресу и прибегаю в дом в то

именно время, когда кто-то выходит из дверей. Убежденный, что это Ватрен, я бегу за ним, он ловким ударом в грудь отбрасывает меня ступеней на двадцать вниз. Я приподымаюсь и снова бросаюсь на него с такой быстротой, что он вынужден войти к себе не иначе, как пробив оконное стекло; тогда я стучу в дверь и требую, чтобы он отворил мне. Он отказывается. Аннетте (последовавшей за мной в моей экспедиции) я отдал распоряжение пойти за стражей и сам сделал вид, что схожу с лестницы, подражая шагам сходящего вниз человека. Ватрен, обманутый моей уловкой, хочет удостовериться, действительно ли я ушел, и просовывает голову в окно. Мне только этого и было нужно: я схватываю его за волосы, он меня также, между нами завязывается отчаянная борьба. Судорожно держась за разделявшую нас стену, он яростно сопротивляется мне, но я чувствую, что силы его понемногу ослабевают. Я со своей стороны собираюсь с духом для последнего нападения; уже только ноги его остаются в комнате — еще одно последнее усилие, и он в моей власти. Я тяну с отчаянной силой, и он надает плашмя в коридор. Вырвать у него револьвер, которым он был вооружен, связать его и повлечь на улицу — это было для меня делом одной минуты. В сопровождении одной только Аннетты я отвожу его в префектуру, где, во-первых, получаю поздравления г-на Анри, а потом выслушиваю похвалу префекта полиции, который, кроме того, подносит мне денежное вознаграждение. Ватрен был человек редкой ловкости, он занимался грубым ремеслом, а между тем посвятил себя подлогам и подделкам, требующим большой тонкости в отделке и ловкости пальцев. Он был приговорен к смертной казни, но ему была дарована отсрочка в ту минуту, когда его уже привели на место казни; эшафот был уже сооружен, и любители, собравшиеся смотреть на интересное зрелище, принуждены были убраться восвояси, обманувшись в своих ожиданиях. Весь Париж помнит об этом случае. Распространился слух, что от него ожидают

важных разоблачений, но так как он не хотел или не имел ничего открыть, то через несколько дней смертный приговор был приведен в исполнение.

Ватрен был первым лицом, которым мне удалось завладеть; он был важный преступник. Успех моего первого дела возбудил зависть блюстителей порядка и их подчиненных; озлобленные моей удачей, они набросились на меня. Они никак не могли простить мне, что я ловчее их; начальники же, напротив, были очень довольны мной. Я удвоил ревность, чтобы все более и более овладеть расположением и доверием последних.

Около этого времени множество пятифранковых фальшивых монет было пущено в обращение. Мне показали несколько из этих монет. Рассматривая их, мне показалось, что я узнал в них руку моего доносчика — Буена и его друга, доктора Терье. Я решился удостовериться в истине и поэтому стал зорко наблюдать за малейшими действиями этих двух негодяев. Но так как я не имел возможности слишком близко следить за ними, потому что они знали меня в лицо и я мог им внушить недоверие, то мне чрезвычайно трудно было собрать надлежащие сведения. Впрочем, с помощью настойчивости и терпения я наконец уверился в том, что действительно не ошибся, и оба фальшивых монетчика были схвачены на месте преступления. В народе шел говор, что доктор Терье был вовлечен в преступление мною же самим; но пусть читатель вспомнит ответ, который он сделал мне, когда я пытался у Буена уговорить его отказаться от преступного ремесла, и тогда убедится, был ли Терье такой человек, которого можно было бы совратить с пути.

Глава двадцать третья

Я снова вижусь с Сен-Жерменом. — Он предлагает мне убить двух стариков. — Внучек Картуша. — Агенты, подстрекающие на преступления. — Аннета еще раз помогает мне. — Покушение на кражу у банкира в улице Отвиль. — Я «убит». — Арест Сен-Жермена и его сообщника Будена

В такой многолюдной столице, как Париж, обыкновенно много дурных притонов, где происходят свидания мошенников. Чтобы чаще иметь случаи видеть их и наблюдать за ними, я усердно посещал места, пользующиеся дурной славой, то являясь туда под своим именем, то под чужим, часто изменяя одежду, как человек, желающий избегнуть полицейского надзора. Все воры и мошенники, которых я встречал зачастую, поклялись бы, что я принадлежу к их сословию. Убежденные, что я из беглых, они Бог знает что готовы были бы сделать, чтобы спасти меня, так как не только питали ко мне полное доверие, но и любили меня, Они поверяли мне свои планы и не предлагали мне присоединиться к ним только из боязни скомпрометировать меня в качестве беглого каторжника. Но не все были настолько деликатны, как увидят ниже.

Несколько месяцев прошло с тех пор, как я посвятил себя своей деятельности, как вдруг судьба свела меня снова с Сен-Жерменом, посещения которого так часто приводили меня в отчаяние в былое время. Он был с одним человеком, прозванным Буденом, которого я знал еще трактирщиком в улице Прувер. Буден тотчас же узнал меня; он подошел ко мне с такой фамильярностью, что я вначале не счел нужным отвечать.

— Что я вам сделал дурного, — сказал он, — что вы воротите от меня физиономию и говорить со мной не хотите?

— Нет, но я узнал, что вы были полицейским шпионом.

— Только-то, ну так что ж из этого. Был действительно шпионом; но если бы вы узнали, как все это случилось, вы не стали бы пенять на меня.

— Он правду говорит, — обратился ко мне Сен-Жермен, — мы не станем на него пенять: Буден добрый малый, и я за него отвечаю, как за самого себя. В жизни так часто встречаются разные оказии, братец мой, что и предвидеть их трудно. Если Буден и принял место, о котором ты говоришь, так это для того, чтоб спасти брата — не иначе. К тому же ты должен знать, что если б у него были дурные наклонности, то он не был бы моим другом.

Я нашел эту гарантию превосходной и более не стал стесняться говорить при Будене.

Сен-Жермен, конечно, рассказал мне, что он делал и как поживал с того времени, когда доставлял мне такое удовольствие своими посещениями. Он поздравил меня с моим побегом и сообщил мне, что с тех пор, как я был арестован, он снова принялся за свое ремесло, но вскоре опять лишился всего и принужден был прибегнуть к побочным средствам. Я попросил его рассказать мне кое-что о Блонди и Дюлюке.

— Подкошены они, друзья мои сердечные, подкошены в Бове! — воскликнул он.

Узнав о казни этих двух злодеев, которых наконец постигла кара за их преступления, я почувствовал при этом сожаление, что голова их сообщника не попала вместе с ними на плаху.

Опорожнив вместе несколько бутылок вина, мы расстались. Уходя, Сен-Жермен, заметив, что я одет довольно плохо, спросил меня, чем я занимаюсь, и когда я сказал ему, что ничего не делаю, он обещал подумать обо мне, если представится хороший, выгодный случай. Я заметил ему, что выхожу редко, из боязни быть арестованным, и поэтому мы, может быть, долго не встретимся.

— Когда хочешь, можно видеть меня, — сказал он, — я даже требую, чтобы ты пришел.

Он дал мне свой адрес, не поинтересовавшись узнать мой.

Сен-Жермен не был более опасным для меня, и я даже был заинтересован с том, чтобы не упускать его из виду; если

моя обязанность состояла в наблюдении за преступниками, то вряд ли нашелся бы кто другой, более достойный моего внимания. Я надеялся избавить общество от этого чудовища. А тем временем я вел войну со всеми мошенниками и плутами, наводнявшими столицу. Настало время, когда воровство и грабеж размножились до невероятия — только и слышно было об украденных решетках, о выставленных окнах, о кражах со взломом; более двадцати фонарных столбов были последовательно украдены один за другим с площади Фонтенбло, и никто не мог поймать виновников преступления. В продолжение целого месяца инспектора употребляли тщетные усилия накрыть их на месте преступления, и как назло, в первую ночь, когда они ослабили свой надзор, фонари снова были унесены — это был как бы вызов полиции. Я принял его на свой счет и, к пущей досаде аргусов Quai du Nord, в короткое время успел предать в руки правосудия дерзких воров, которые все были отправлены в галеры. Один из них назывался Картушем. Не знаю, было ли это влияние знаменитого имени, или он унаследовал дар от своего семейства (может, быть, он был потомком знаменитого Картуша?), уж не знаю, благодаря чему — но он был необыкновенно искусен в своем ремесле. Предоставляю генеалогам решить вопрос.

Ежедневно я делал новые открытия; в тюрьмы поступали только те люди, которые были захвачены по моим указаниям, а между тем ни один из них даже и в мысли не имел, что заключен по моей милости. Я так хорошо улаживал свои дела, что не обнаружилось никаких признаков моих действий. Знакомые со мной воры считали меня лучшим из товарищей, остальные почитали за счастие посвящать меня в свои тайны, отчасти ради удовольствия поговорить со мной, отчасти, чтобы попросить моего совета. Однажды, когда я бродил по бульварам, ко мне подошел Сен-Жермен в сообществе с Буденом. Они пригласили меня отобедать, я согласился, и за десертом они сделали мне несказанную честь, предложив

участвовать третьим лицом в убийстве. Дело шло о том, чтобы спровадить на тот свет двух стариков, живших вместе в доме, где поселился Буден, в улице Прувер. Содрогаясь от ужаса и негодования при рассказе этих злодеев, я в душе благословлял Провидение, которое привело их ко мне. Вначале я колебался присоединиться к заговору, но в конце концов сделал вид, что уступаю их настоятельным просьбам, и между нами было условлено выждать благоприятного момента для выполнения ужасного плана. Приняв это решение, я распростился с Сен-Жерменом и его товарищем и, желая во что бы то ни стало предупредить преступление, поспешил донести обо всем г-ну Анри, который призвал меня к себе и расспросил о всех подробностях относительно разоблачения, которое я ему сделал. Он желал удостовериться, действительно ли меня уговаривали совершить преступление или же в порыве излишнего усердия я прибегнул к преднамеренному подстрекательству. Я поклялся ему, что в этом случае инициатива была не с моей стороны; он убедился тоном искренности, с которым я произнес эти слова, и объявил мне, что он доверяет мне, что не помешало ему произнести мне наставление по поводу агентов-подстрекателей; слова его проникли в глубину души моей. Как желал бы я, чтобы их слышали те презренные, которые со времени Реставрации погубили столько жертв. Если бы они прониклись речью моего достойного начальника, то, наверное, возрождающаяся эпоха легитимизма не напомнила бы кровавых дней иной эпохи!..

— Помните, — сказал мне в заключение г-н Анри, — что подстрекатель, — величайший бич современного общества. Если нет подстрекателей, то преступления совершаются людьми сильными, потому что замышляются ими. Слабые существа могут быть увлечены, совращены; чтобы свернуть их в пропасть, стоит только найти слабую струну их страстей или их самолюбия, но тот, кто пользуется этими средствами, чтобы погубить их, тот чудовище порока! Он один виновен,

его одного должен был бы поразить меч правосудия. В полиции, — прибавил он, — лучше ничего не делать, нежели самому создавать себе дело.

Хотя я не имел надобности в этом уроке, но я поблагодарил г-на Анри, который велел мне следить по пятам за обоими убийцами и ничего не щадить, чтобы предать их правосудию.

— Полиция, — прибавил он, — учреждена настолько же с целью карать преступников, насколько для того, чтобы предупреждать злодеяния, и всегда лучше подоспеть ранее.

Согласно инструкциям, полученным мною от г-на Анри, я не пропускал ни одного дня, чтобы не повидаться с Сен-Жерменом и его другом Буденом. Так как замышляемое ими злодейство должно было доставить им изрядное количество денег, то я заключил из этого, что мне следует проявить некоторое нетерпение, для пущей естественности.

— Ну что же, когда пресловутое дело? — говорил я всякий раз, как мы виделись.

— Когда? — отвечал мне Сен-Жермен. — Груша-то еще неспела; когда настанет пора, тебя предупредит вот он, — он указывал на Будена.

Уже несколько свиданий прошло, а еще дело не решалось. Я опять повторил свой обычный вопрос.

— А на этот раз, — сказал Сен-Жермен с довольным видом, — на этот раз могу тебя утешить — на завтра! Мы ждем тебя, чтоб сговориться.

Свидание было назначено за городом, я не преминул явиться. Сен-Жермен оказался таким же аккуратным.

— Послушай, — сказал он, — мы рассудили и нашли, что то дело, о котором мы тебе говорили, теперь исполниться но может, но у нас есть другое, только предупреждаю тебя заранее, что тут нужна откровенность и прямой ответ: да или нет. Прежде всего я тебе скажу, что нам сообщили сегодня: некто Карье, который знал тебя в Форсе, уверяет, что тебя выпустили

только с условием служить при полиции и что ты состоишь тайным агентом.

При слове «тайный агент» я почувствовал, что задыхаюсь, но тотчас же оправился, и, вероятно, по виду ничего не было заметно, потому что Сен-Жермен, пристально наблюдавший за мной, потребовал, чтобы я объяснился. Моя находчивость и присутствие духа, не покидающие меня ни на минуту, подсказали мне ответ.

— Ничего нет удивительного, — ответил я, — что меня считают тайным агентом: я знаю, откуда эта сплетня могла возникнуть. Ты ведь знаешь, что меня должны были перевести в Бисетр. Дорогой я бежал и остался жить в Париже, не зная, куда идти. Надо жить, где есть средство к жизни. К несчастью, я принужден скрываться; благодаря постоянным переодеваньям, я избегаю поисков, но всегда есть лица, которые узнают меня, например, те, с которыми я имел близкие сношения. Между ними найдутся и такие, которые, отчасти чтобы повредить мне, отчасти от корысти, считают долгом заарестовать меня. Ну вот, чтобы заставить их отказаться от этого желания, я и говорил им, что состою при полиции, всякий раз, как они намеревались выдать меня.

— Вот это дело, — сказал Сен-Жермен, — верю тебе, дружище, и чтобы дать тебе доказательство своего доверия, я скажу тебе, какое дельце нам предстоит сегодня вечером. На углу улицы Ангиен и Отвиль живет один банкир; дом его выходит в большой сад, который может помочь пашей экспедиции и способствовать нашему бегству. Сегодня банкира не будет дома, а кассу, в которой хранится много золота и серебра, стерегут всего двое молодцов. Вот мы и решили завладеть денежками сегодня же вечером. До сих пор нас уже трое для этого дела, ты будешь четвертым. Мы на тебя рассчитываем. Если откажешься, так подтвердишь наши подозрения и мы подумаем, что ты действительно шпион.

Не подозревая никакой задней мысли, я с готовностью принял предложение; Буден и он были мной довольны. Скоро пришел и третий, которого я не знал. Его звали Дебенн, и он был отец семейства, а злодеи склоняли его на преступление. Что касается меня, то я уже в уме составил план, как накрыть их за делом, но каково было мое удивление, когда, заплатив за выпивку, Сен-Жермен обратился к нам с речью: «Друзья мои, когда ставишь на карту свою голову, — надо быть осмотрительным. Сегодня нам предстоит дело, которого я не желал бы проиграть; чтобы шансы были на нашей стороне, вот что я придумал и надеюсь, что вы со мной согласитесь. Дело вот в чем: около полуночи мы все четверо должны войти в дом. Буден и я, мы берем на себя обделать дельце, а вы оба останетесь в саду и в случае надобности поможете нам. Надеюсь, что если дело нам удастся, то нам перепадет кое-что и мы проживем хотя некоторое время без забот. Но ради нашей взаимной безопасности, нам не надо расставаться до того времени, пока не настанет решительная минута».

Последние слова эти, которые я притворился, будто не слышу, были повторены еще раз. «Ну, уж теперь, — подумал я, — не знаю, как мне выпутаться из беды! Какое средство пустить в ход?» Сен-Жермен был человек редкой смелости, жадный к деньгам и всегда готовый пролить кровь, лишь бы раздобыть золота. Было всего десять часов утра, до полуночи оставалось времени вдоволь; я надеялся, что представится в этот промежуток какой-нибудь случай ловко ускользнуть и предупредить полицию. Как бы то ни было, я согласился на предложение Сен-Жермена и не сделал ни малейшего возражения на предосторожность, которая была самой лучшей гарантией взаимной нашей скромности. Увидев, что мы с ним вполне согласны, Сен-Жермен, который по своей энергии и сообразительности был настоящим предводителем заговора, выразил нам свое удовольствие.

— Очень рад, — сказал он, — что вы одного со мной мнения, со своей стороны я сделаю все, что могу, чтобы заслужить вашу дружбу.

Мы условились все вместе пойти к нему, в улицу Сент-Антуан; извозчик довез нас до места. Приехав туда, мы отправились наверх в его комнату, где он должен был держать нас взаперти до решительной минуты. Заключенный в четырех стенах с двумя разбойниками, я ума не мог приложить, как бы мне улизнуть: придумать предлог, чтобы выйти, не было никакой возможности. Сен-Жермен заподозрил бы меня тотчас же и способен был бы пустить мне пулю в лоб. Что делать? Я покорился своей судьбе и решился ждать, что будет. Самое лучшее было помогать им в приготовлениях к преступлению. На столе были положены пистолеты, их осмотрели, разрядили, снова зарядили, одну пару Сен-Жермен нашел негодной к употреблению и отложил в сторону.

— Пока вы тут заряжаете их, я пойду переменю эти свиные ноги.

— Постой-ка, — заметил я, — по нашему условию никто не может выйти отсюда без провожатого.

— Твоя правда, — ответил он, — люблю, когда кто верен своим обязательствам. Пойдем со мной в таком случае.

— А эти господа?

— Мы запрем их на двойной запор.

Сказано — сделано. Я пошел с Сен-Жерменом. Мы купили пуль и пороху, плохие пистолеты были обменены на другие — получше, и мы вернулись домой. Затем окончились приготовления, при которых я содрогался от ужаса. Спокойствие Будена, точившего о брусок два кухонных ножа, было действительно ужасно.

Между тем время шло; было уже около часу, а мне не представлялось никакой надежды на спасение. Я зеваю, притворяюсь усталым, потягиваюсь, скучаю и, отправившись в соседнюю комнату, бросаюсь на постель, как будто с намере-

нием отдохнуть. Через несколько минут я снова появился с таким же утомленным видом, остальные собеседники так же раскисли, как и я.

— А что если бы нам выпить? — предложил Сен-Жермен.

— Превосходная мысль! — воскликнул я, подпрыгнув от удовольствия. — Кстати, у меня есть корзина превосходного бургундского: если хотите, пошлемте за ним.

Все согласились со мной, что лучше ничего нельзя было придумать, и Сен-Жермен послал своего дворника к Аннетте, которую просили прийти с угощением. Условились ни о чем не проговариваться при ней; пока мои собеседники предвкушали предстоящее наслаждение, я снова бросился на кровать и наскоро написал карандашом на клочке бумаги: «Когда выйдешь отсюда, переоденься и следуй за нами по пятам; берегись быть замеченной. Постарайся в особенности проследить, что я брошу на пол, и снеси это туда». Несмотря на краткость, инструкция эта была достаточна — Аннетта уже не раз получала распоряжения в таком роде, и я был уверен, что и на этот раз она поймет их смысл.

Она не замедлила появиться с корзинкой в руках. Приход ее рассеял нашу скуку и вялость. Все стали приветствовать ее и осыпать любезностями. Я выждал минуту, когда она собралась уходить, и, целуя ее на прощанье, сунул ей в руку записочку.

Пообедав на славу, я предложил Сен-Жермену пойти с ним вдвоем на рекогносцировку местности при дневном свете, чтобы предвидеть все на случай надобности. Эта предосторожность была весьма естественна и не удивила Сен-Жермена; только когда я взял фиакр, он счел более удобным пойти пешком. Достигнув места, которое он наметил как самое удобное, чтобы влезть в дом, я осмотрел его так подробно, что мог описать безошибочно. Когда рекогносцировка была окончена, Сен-Жермен сказал мне, что нужно было бы достать черного крепа, чтобы закрыть лицо; мы отправились в Пале-Рояль, и пока он вошел в лавку, я под предлогом

надобности заперся в ретирадное место и записал все сведения, которые могли дать полиции возможность предупредить преступление.

Сен-Жермен, не перестававший во все время зорко следить за мною, повел меня в портерную, где мы выпили несколько бутылок пива. Когда мы уже подходили к дому, я заметил Аннетту, подстерегавшую меня. Всякий другой не узнал бы ее, так искусно она была переодета. Уверившись, что она следит за мною, я роняю бумажку и иду далее, предоставляя себя судьбе.

Мне невозможно описать всю тревогу, которую я испытывал, ожидая минуты отправления. Несмотря на то, что я предупредил полицию, я боялся, что она подоспеет не вовремя и уж тогда, когда преступление совершится; мог ли я один решиться арестовать Сен-Жермена и его сообщников? Мое усердие оказалось бы совершенно напрасным; и к тому же кто мне ручался в том, что по совершении преступления я не буду судиться и обвиняться наравне с остальными виновниками? Мне пришло на мысль, что во многих случаях полиция отрекалась от своих агентов, а в других случаях она не могла заставить суд отличить их от действительно виновных. Я был в страшной тревоге, когда Сен-Жермен поручил мне сопровождать Дебенна, кабриолет которого, предназначенный для мешков с золотом и серебром, должен был остановиться на углу улицы. Когда мы вышли, я снова увидел Аннетту, которая знаком дала мне знать, что исполнила мое поручение. В эту минуту Дебенн обратился ко мне с вопросом, где будет свидание. Не знаю, какой добрый гений вдохновил меня мыслью спасти этого несчастного. Я заметил, наблюдая за ним, что он еще не вполне испорчен, и мне показалось, что он подвигается к пропасти только благодаря коварным советам своих приятелей. Я указал ему совершенно иное место, нежели то, которое было условлено между нами, а потом присоединился к Сен-Жермену и Будену на углу бульвара

Сен-Дени. Было всего только половина одиннадцатого; я сказал им, что кабриолет будет готов через час, что Дебенн, согласно моему распоряжению, будет ждать на углу Фобур-Пуассоньер и готов будет прибежать по малейшему сигналу. Я дал им понять, что если кабриолет поставить слишком близко от того места, где должно происходить действие, то это может возбудить подозрения, поэтому я счел более удобным держать его в некотором отдалении; они одобрили мою предосторожность.

Пробило одиннадцать часов; выйдя на дорогу, мы направились к дому банкира. Буден и его сообщник шли с трубками в зубах; спокойствие их ужасало меня. Наконец мы достигли того столба, который должен был служить нам лестницей. Сен-Жермен спросил у меня пистолеты; в эту минуту я вообразил, что он угадал мои намерения и хочет лишить меня жизни. Я подаю ему пистолеты, но вижу, что я ошибся. Он открывает полку, переменяет затравочный порох и снова отдает мне оружие. Проделав то же самое со своим оружием и оружием Будена, он сам подает нам пример и впереди всех лезет на столб, потом оба мошенника, не выпуская трубки из зубов, бросаются в сад. Волей-неволей мне приходилось следовать за ними; добравшись до верха стены, я снова начал тревожиться: успела ли полиция подготовить засаду? Не опередил ли ее Сен-Жермен? Вот вопросы, которые мучили меня.

В этой ужасной неизвестности я принял отчаянное решение предупредить преступление во что бы то ни стало, хотя бы ценою своей жизни. Сен-Жермен, увидев, что я сижу верхом на стене, и раздосадованный моей медлительностью, закричал мне: «Да ну, слезай поскорей». Едва он успел проговорить эти слова, как на него бросаются несколько людей! Буден и он отчаянно защищаются; завязывается перестрелка, со всех сторон свищут пули. После свалки, продолжавшейся несколько минут, полиция осиливает убийц. Многие из полицейских были ранены, Сен-Жермен и его друг — также. Так как я оставался

простым зрителем стычки, то со мной решительно не могло случиться ничего неприятного, но чтобы выдержать свою роль до конца, я бросился также на поле сражения и притворился, будто пуля поразила меня насмерть. Сейчас же меня завернули в одеяло, и я был перенесен в комнату, где находились Буден с Сен-Жерменом. Последний, казалось, был глубоко тронут моей смертью. Он прослезился, и его с трудом оттащили от моего мнимого трупа.

Сен-Жермен был человек рослый — пять футов восемь дюймов — и одаренный железными, выдающимися мускулами. Голова у него была громадная, с маленькими полузакрытыми глазками, как у ночной птицы; лицо его, все изрытое оспой, было крайне некрасиво, но нельзя сказать, чтобы в нем было что-нибудь отталкивающее, напротив, в нем светился ум и живость. Разбирая его черты в подробностях, в них можно было найти нечто общее с волком или гиеной, в особенности если принять во внимание ширину его выдающихся челюстей. В этом организме преобладали отличительные особенности и инстинкты хищного животного. Он до страсти любил охоту; вид крови приводил его в восторг и умиление. Он также имел страсть к игре, женщинам и любил хорошо поесть. Так как он по тону и манерам принадлежал к хорошему обществу, умел поддержать светский разговор и почти всегда был одет изящно, то о нем можно было сказать, что он благовоспитанный разбойник. Когда это входило в его интересы, он был кроток и любезен, во всяком же другом случае груб и резок. Достигнув сорокапятилетнего возраста, он уже совершил несколько убийств на своем веку и тем не менее был веселым собеседником и разлюбезным малым в обществе себе равных. Его товарищ, Буден, был гораздо меньше его ростом, приземистой и тщедушное, лицо у него было изжелта-бледное, глаза черные, живые, в глубоких впадинах.

Привычка орудовать кухонным ножом и разрезать мясо пробудила в нем кровожадные инстинкты. Ноги у него были

колесом; эту особенность я заметил у многих убийц по профессии и у некоторых других лиц, известных наклонностью ко злу.

Не помню я другого события в моей жизни, которое доставило бы такое искреннее удовольствие, как арест этих злодеев. Я поздравлял себя, что избавил общество от двух чудовищ, и вместе с тем я был счастлив, что судьба позволила мне спасти извозчика Дебенна от погибели. Впрочем, удовольствие, которое я чувствовал, было только относительно; я не переставал сетовать на то, что роковая судьба ставила меня в необходимость или самому влезть на эшафот, или помогать другим взбираться на него.

Должность «тайного агента», конечно, гарантировала мою свободу, я более не подвергался всем тем опасностям, которым подвержен беглый каторжник, но пока еще мне не было даровано помилования, свобода, которою я пользовался, была непрочна, так как во всякое время по воле моих начальников она могла быть отнята у меня. С другой стороны, я не забывал, какое презрение обыкновенно питают и должности, которую я занимал. Чтобы мне не наскучили обязанности, сопряженные с моим званием, мне необходимо было взвесить, обсудить их, и по зрелом размышлении я заключил, что тяготевшее надо мной презрение — не более как следствие предрассудка. Разве я не рисковал ежеминутно своей жизнью в интересах общества? Разве не я вступался за честных людей против злодеев, которых презирали?.. Я отыскивал преступление в тени, я разрушал гибельные планы, покушения на жизнь человеческую, а меня же ненавидели!.. Преследуя разбойников до самого места их преступления, я вырывал из рук их кинжал, и пистолет, я подвергался их мести, а меня за это презирали!.. Рассудок мой одержал верх, я осмелился пойти наперекор всем и вынести неблагодарность и несправедливость общественного мнения.

Глава двадцать четвертая

Я посещаю притоны порока. — Инспектора изменяют мне. — Я открываю покупщика ворованных вещей. — Уловка, чтобы уличить его. — Он осужден

Воры и мошенники, на время испугавшись нескольких арестов, состоявшихся по моей милости один за другим, не замедлили снова появиться еще в большем числе и действовать еще смелее прежнего. Между ними находилось несколько беглых каторжников, которые, усовершенствовавшись на галерах в своем опасном ремесле, явились в Париж применять его на практике; деяния их распространяли ужас среди населения. Полиция решилась положить конец подвигам этих бандитов. Мне было поручено преследовать их, и я получил приказ заранее сговариваться с полицейскими агентами, коль скоро я имел в виду заарестовать кого-нибудь. Ясно, какую задачу на меня возложили; я должен был посещать все притоны разврата в Париже и его окрестностях. В несколько дней мне удалось узнать все логовища, где я мог встретить злодеев: застава Куртиль, застава Камба и Менильмонтан — вот места, где они преимущественно любили собираться. Это была их главная квартира, где их всегда было много, и горе тому агенту, который пришел бы туда следить за ними: злодеи неминуемо убили бы его; даже жандармы не осмеливались проникать туда, до того опасно и могущественно было это общество преступников. Менее боязливый, нежели они, я, не задумываясь, проник в это сборище отверженных, братался о ними, вел с ними компанию, так что наконец они стали смотреть на меня, как на товарища. Распивая вино с этими господами, я узнавал о совершившихся или только замышляемых преступлениях; я обходил их с такой ловкостью, что мне ничего не стоило узнавать адреса их или женщин, с которыми они были в связи. Могу сказать, что я внушал им безграничное доверие, и если бы кто-нибудь из

них, более смелый, нежели его сотоварищи, позволил себе выразить на мой счет малейшее подозрение, я не сомневаюсь, что они немедленно отомстили бы ему за меня. Таким образом мне удавалось получать от них все нужные мне сведения, так что, когда я подавал сигнал, то почти всегда были уверена в успехе накрыть мошенников или на месте преступления, или же с ворованными вещами, которые служили достаточной уликой их виновности.

Мои изыскания intra muros были не менее успешны; я посетил один за другим все игорные дома, все кабаки окрестностей Пале-Рояля, отель д'Англетер, бульвар дю Тампль, улицы Ваннери, Мортельери, Планш Мибре, рынок Сен-Жак, ла-Петит-шез, улицы Жюльери, Каландр, Шателэ, площадь Мобер и др.

Не проходило дня, чтобы я не сделал какого-нибудь важного открытия; ни одно преступление не замышлялось без того, чтобы мне не были доверены все мельчайшие подробности покушения. Я был повсюду, везде поспевая, и власти никогда не были обмануты моими указаниями. Г-н Анри удивлялся моей деятельности; он публично выразил мне свое удовольствие, причем многие офицеры, служащие при полиции, краснели от злости и не стыдились жаловаться на это предпочтение. Инспектора, не привыкшие проводить бессонные ночи, находили слишком тяжелым постоянное занятие, которое я им доставлял; между ними поднялся ропот. Некоторые из них были даже настолько нескромны, настолько низки, что открыли инкогнито, с помощью которого я так успешно действовал. Эта проделка навлекла на них строгий выговор, но от этого они не стали ни более осмотрительными, ни более преданными.

Почти немыслимо было, живя постоянно среди мошенников, чтобы они не предложили мне участвовать в какомнибудь деле; я никогда не отказывался, но когда наставало время действовать, я всегда выдумывал какой-нибудь предлог

и не являлся на свидание. Вообще воры до такой степени глупы, что я мог, не стесняясь, измышлять всевозможные, самые нелепые предлоги. Часто даже, чтобы провести их, мне не приходилось прибегать к хитрости. Когда их захватывали, они все-таки не догадывались ни о чем, потому что, предполагая их более смышлеными, мы принимали меры, чтобы им не пришло в голову заподозрить меня.

Случалось даже, что некоторые из них, выскользнув из рук полиции в ту именно минуту, когда приготовились схватить их, приходили в то место, где надеялись меня встретить, чтобы сообщить мне печальную весть об аресте их товарищей.

Когда знаешься с ворами, тогда нет ничего легче узнать утайщиков их добычи, и я открыл нескольких. Данные, которые я сообщил полиции, чтобы уличить их, были так положительны и безошибочны, что они не замедлили последовать за своими товарищами в галеры. Может быть, небезынтересно будет рассказать о способах, которые я употребил, чтобы избавить столицу от одного из этих опасных людей.

Уже несколько лет полиция следила за ним, а до сих пор еще не удалось накрыть его на месте преступления. Частые обыски в его квартире не привели ни к какому результату, ни одна из найденных у него вещей не могла доставить улики против него, а между тем были уверены, что он покупает краденые вещи из первых рук, и многие из воров, не подозревая, что я состою при полиции, указали мне на него, как на верного человека, на которого можно вполне положиться. Сведений о нем было вдоволь; но надо было накрыть его на месте с украденными вещами.

Г-н Анри употребил все старания, чтобы достигнуть этой цели, но благодаря недостатку ловкости у агентов или чрезмерной ловкости укрывателя планы всегда не удавались. Хотели испытать, не буду ли я счастливее. Я попытался, и вот как я принялся за дело: спрятавшись на некотором расстоянии от его дома, я подстерег его, когда он выходил со двора,

потом стал следовать за ним на расстоянии нескольких шагов и вдруг остановил его, назвав совсем не его имя. Он стал уверять, что я ошибаюсь и что он вовсе не тот, о ком я думаю. Я настаиваю. Он продолжает отнекиваться; в свою очередь я объявляю ему, что отлично узнаю в нем человека, уже давно служащего предметом поисков в Париже и его окрестностях.

— Да вы ошибаетесь, — сказал он, — я такой-то и живу там-то.

Не верю ни одному слову.

— Ну, уж это слишком; хотите, я докажу противное?

Я соглашаюсь на том условии, что он пойдет вместе со мной в соседний участок.

— Охотно, — отвечает он, и мы вместе отправляемся туда. Входим; я приглашаю его предъявить бумаги, у него их не оказывается. Тогда я требую, чтобы его обыскали, и у него находят трое золотых часов и двадцать пять дублонов, которые я беру под свою охрану, пока его не отвели к комиссару. Вещи были завернуты в платок, я овладеваю им и, переодевшись комиссионером, спешу в квартиру укрывателя.

Меня встречает его жена и еще несколько каких-то людей. Она не знала меня в лицо; я пожелал говорить с ней наедине. Оставшись с ней с глазу на глаз, я показал ей платок в доказательство того, что знаю ее мужа. Она еще не догадалась о причине моего посещения, но уже смутное предчувствие обозначилось на ее лице; она видимо смутилась. «К сожалению, я приношу вам не слишком-то хорошую весть, — сказал я, — муж ваш только что арестован, его удержала полиция и забрала все, что на нем было; по некоторым словам, оброненным полицейскими, он заключил, что, вероятно, его выдали, поэтому он просит вас тотчас же вынести отсюда все, что вы знаете. Если хотите, я помогу вам, только предупреждаю вас, что время нельзя терять».

Мои слова были убедительны; носовой платок и описание предметов, которые были в него завернуты, не дозволяли

сомневаться в моей правдивости. Жена утайщика попалась на эту удочку. Она попросила меня привести трех извозчиков и тотчас же вернуться к ней обратно. Я вышел, чтобы исполнить поручение, но дорогой я отдал одному из моих подчиненных распоряжение не терять из виду экипажей и задержать их по первому сигналу. Я привел фиакры и взошел наверх: все было вверх дном, комнаты завалены разнородными вещами; стенные часы, этрусские вазы, канделябры, куски сукна, кашемира, полотна, кисеи — все было навалено целыми грудами. Все эти товары были вынесены из потайной комнаты, вход в которую искусно был замаскирован большим шкафом, так хорошо приспособленным, что невозможно было подозревать обмана. Я помог нагрузить товары, и когда все было окончено и шкаф был поставлен на место, жена укрывателя попросила меня проводить ее. Я исполнил ее желание, и едва она успела сесть на извозчика, как мы были окружены полицейскими. Супруги были преданы суду и осуждены, благодаря неоспоримым уликам в виде целой массы вещественных доказательств.

Может быть, меня осудят за уловку, к которой я прибегнул, чтобы избавить Париж от укрывателя, который был настоящим бичом для столицы. Но мне все равно, одобрят меня или нет: я в глубине своей совести сознавал, что исполнил свой долг; к тому же когда дело идет о том, чтобы уличить мошенников, ведущих открытую войну с обществом, то, по-моему, нельзя пренебрегать никакими средствами, кроме подстрекательства.

Глава двадцать пятая

Шайка Гевива. — Публичная женщина наводит меня на следы предводителя шайки. — Я у него ночую. — Меня принимают за беглого каторжника. — Я участвую в заговоре против самого себя. — Кража в улице Кассет. — Гевив и четверо его сообщников арестованы. — Клика восемнадцати

Приблизительно около того времени, как я помог задержать укрывателя краденых вещей, в предместье Сен-Жермен образовалась шайка, которая грабила этот квартал преимущественно перед другими кварталами столицы. Шайка эта состояла из людей, зависящих от одного предводителя, некоего Гевива, названного Константеном, в сокращении Антеном, — у содержателей публичных домов и мошенников существует обычай называть друг друга последним слогом имени.

Гевив, или Антен, был когда-то фехтмейстером, потом занимал должность драгуна, состоял на жалованьи у развратных женщин низшего разбора; по ремеслу вор, он вел жизнь самого отчаянного мошенника. Говорят, он на все был способен, и хотя не доказано было, что он совершил когда-либо убийство, но никто не сомневался в том, что он не задумается пролить кровь. Однажды его любовница была найдена зарезанной в Елисейских полях, и на него пало главное подозрение по этому делу. Как бы то ни было, Гевив был человек предприимчивый, одаренный редкой отвагой и необычайной наглостью. По крайней мере, товарищи считали его таковым, и он среди них пользовался известной славой.

Давно уже полиция не спускала глаз с Гевива и его сообщников, но она не была в состоянии овладеть ими, а ежедневно повторявшиеся покушения на собственность доказывали, что они не сидят сложа руки. Наконец приняли серьезное решение положить предел темным деяниям разбойников, и я получил распоряжение пуститься за ними на поиски и накрыть их на месте преступления. Преимущественно настаивали

на этом последнем пункте, которому придавали особенную важность. Я облекся в приличный случаю костюм и в тот же день принялся за дело, обойдя все подозрительные места предместья Сен-Жермен. В полночь я явился к некоей мадам Бушэ, присел за стол выпить стакан-другой с женщинами легкого поведения, и пока я сидел в их обществе, услышал, что за последним столом кто-то произнес имя Константена. Сначала мне представилось, что он тут же, и я ловко расспросил одну из девушек.

— Его здесь нет, — ответила она, — но он каждый день приходит с приятелями.

По ее тону я мог заключить, что ей хорошо известны привычки интересующих меня господ; я пригласил ее ужинать, в надежде заставить проболтаться. Она согласилась я, воодушевившись несколькими стаканами крепких напитков, открыто призналась мне, что мой костюм, мои ухватки и в особенности язык заставляют ее думать, что я также друг (вор). Мы провели с ней вместе часть ночи, и я ушел только тогда, когда она сообщила мне, какие места посещал Гевив.

На другой день утром я снова отправился к Бушэ. Там я опять встретился со своей вчерашней знакомкой; едва успел я войти, как она узнала меня и подошла ко мне.

— А! Вот и ты опять появился! Если хочешь поговорить с Гевивом, так он тут, — она указала мне на личность лет 28–30, довольно чисто одетую, хотя в куртке. Ростом он был пяти футов шести дюймов; лицо его было довольно красивое, волосы черные, роскошные бакенбарды, ослепительные зубы, — именно таким мне его описали. Не колеблясь, я подошел к нему с просьбой одолжить мне табаку для трубки. Он быстро окинул меня взглядом и спросил, не служил ли я в военной службе. Я ответил, что действительно был гусаром, и вскоре со стаканами в руках мы вступили в разговор об армии.

Пока мы разговаривали, попивая, время быстро прошло: заговорили об обеде. Гевив сказал мне, что он устроил ком-

панию и если мне угодно примкнуть к ней, то он будет очень рад. Отказаться было бы глупо, и мы вместе отправились к заставе Мэн, где нас ждали четверо его приятелей. Прибыв туда, мы сели за стол; никто из собеседников не знал меня, я был для них посторонним лицом, все были осмотрительны в моем присутствии. Тем не менее несколько слов, случайно произнесенных на знакомом наречии, убедили меня, что все члены честной компании рабочие (воры).

Они захотели узнать, чем я занимаюсь; я сочинил им одну из историй, на какие был мастер; по моим словам они поняли, что я недавно из провинции и желаю пристроиться к какой-нибудь шайке, занимающейся известным ремеслом. На этот счет я не высказался вполне ясно, но как бы невзначай старался известными приемами изобличить свою профессию и дать им понять, что не знаю, куда деваться.

Вино лилось рекой, языки понемножку развязались, и в конце обеда я узнал, где живет Гевив и Жубер, его достойный сотрудник; узнал также имена многих из их товарищей. Когда пришло время расходиться, я дал понять, Что мне негде переночевать. Жубер предложил мне отправиться с ним и повел меня в улицу Сен-Жак № 99, где он нанимал комнату во втором этаже, окнами на задний двор. Я лег с ним на постели его любовницы, девицы Корневен.

Долго разговаривали мы с ним на сон грядущий; Жубер осыпал меня вопросами. Он непременно хотел узнать, на какие средства я живу, в порядке ли мои бумаги, — словом, любознательность его была неистощима. Чтобы удовлетворить ей, мне приходилось или избегать прямого ответа, или лгать, но я старался всеми средствами показать ему, что я товарищ по ремеслу. Наконец он воскликнул, как бы разгадав меня: «Ну, да уж нечего переливать из пустого в порожнее, не скрывайся — ты из наших!». Я сделал вид, что не понимаю его слов, он повторил их с комментариями.

Я притворился обиженным и ответил, что он ошибается и что если он намерен продолжать шутки в этом роде, то я принужден буду уйти. Жубер замолчал, разговор прекратился до следующего утра; в десять часов Гевив пришел будить нас.

Условлено было, что мы пойдем завтракать в Гласьер. Так и сделали. По дороге Гевив отвел меня в сторону и сказал:

— Послушай, я вижу, что ты славный малый, и хочу оказать тебе услугу. Не будь только так скрытен со мной: кто ты и откуда пришел?

Из моих полупризнаний он мог заключить, что я беглый тулонский каторжник, и посоветовал мне быть поосторожнее с его товарищами.

— Они у меня добрейшие малые на свете, — прибавил он, — только вот беда — больно болтливы.

— О, я держу ухо востро, — возразил я, — да и не могу же я плесневеть в Париже; тут слишком много расплодилось чертовой роты (полицейских) и потому далеко не безопасно.

— Правда, — ответил он, — но если тебя не знает Видок, то тебе бояться нечего, особливо со мной, я нюхом распознаю этих бездельников, как ворон чует порох.

— Что до меня касается, — сказал я, — то я не так хитер. Впрочем, если б мне случилось встретиться с Видоком, то по описанию, которое мне о нем сделали, черты его так ясно запечатлелись в моем воображении, что я непременно тотчас же узнал бы его.

— Уж ты бы лучше помалкивал. Видно, что совсем не знаешь эту шельму! Представь себе, он изменяется по желанию. Утром, например, он одет как мы с тобой; в полдень уж совсем не то, вечером опять другая статья. Не далее как вчера не его ли я встретил переодетого в генерала? Но шалишь — я не поддался на эту удочку; впрочем, как он, так и другие могут стараться сколько душе их угодно, а я всегда отгадаю их по первому взгляду, и если бы все друзья мои были таковы, как я, то немного пришлось бы ему дела делать.

— Ба, — возразил я, — все парижане толкуют то же самое, а вот он все подкопы подводит под вашего брата.

— Ты прав, — сказал он, — но чтобы доказать тебе, что и вовсе не из таких олухов, если хочешь, пойдем со мной сегодня же вечером, подстережем его у его двери и сделаем что следует.

Я был рад, узнав, что ему действительно известно, где я живу; я обещал ему свое содействие, и мы условились, лишь только смеркнется, завязать в платки по десяти медных монет в два су и хорошенько отколотить эту сволочь, Видока, как только он выйдет из своей квартиры.

Платки были приготовлены, и мы отправились в путь, Константен, который был уж порядочно навеселе, повел нас в улицу Нев-Сен-Франсуа, прямо насупротив дома № 14, где я действительно жил. Не знаю уж, каким образом он узнал мой адрес; признаюсь, это обстоятельство довольно сильно беспокоило меня, и мне показалось странным, как это он не знает меня в лицо. Мы продежурили несколько часов, а Видок, конечно, и не думал показываться. Константен был сильно раздосадован этой неудачей.

— Ну, делать нечего, сегодня он нам не попадется, но клянусь, если я встречу его, он дорогой ценой заплатит мне за наше бесполезное дежурство.

В полночь мы удалились, отложив свое предприятие до завтрашнего дня. Довольно пикантно было то, что я принимал участие в заговоре против своей же собственной особы. Константен остался очень доволен моей готовностью помочь ему в том деле, и с этой минуты он ничего более не скрывал от меня. Он замышлял совершить кражу в улице Кассет и предложил мне участвовать в ней. Я согласился и дал обещание, но в то же время объявил, что не могу и не хочу выходить из дому ночью без бумаг.

— Ну, в таком случае ты подождешь нас здесь.

Наконец покража состоялась. Константен и его приятели, не желая идти в темноте, имели неосторожность и даже дерзость отцепить уличный фонарь, и один из них понес его во главе процессии. Придя домой, они поставили фонарь среди комнаты и стали обозревать свою роскошную добычу. Они были вне себя от радости, любуясь плодами своей экспедиции; но едва лишь прошло полчаса после их прихода, как кто-то постучал в дверь; воры, пораженные, переглянулись с немым ужасом. Сюрприз был устроен мною. Стук повторяется сильнее прежнего. Тогда Константен, делая нам знак, чтобы мы молчали, прошептал в испуге: «Это полиция, я в этом уверен».

Я быстро вскочил и спрятался под кровать. Стук усиливается, принуждены отпереть дверь.

В одно мгновение целый сонм инспекторов наполняет комнату, арестуют Константена и четырех других воров; затем производят общий обыск. Осматривают кровать, на которой лежит любовница Жубера, исследуют даже кушетку тростью, а меня все-таки не находят. Я этого и ожидал.

Комиссар составляет протокол; производят опись украденных вещей и уносят их в префектуру. Когда дело было сделано, я вышел из своего убежища и очутился наедине с Корневен, которая не могла надивиться моему счастью: она находила, что я спасся просто сверхъестественным чудом, и пригласила меня остаться с ней.

— Возможное ли это дело, — ответил я, — а полиция-то!

И я ушел, обещая увидеться с ней в Эстрападе.

Я пошел к себе отдохнуть немного и в назначенный час аккуратно явился на свидание. Корневен ждала меня. От нее я надеялся раздобыть полный список друзей и сообщников Жубера и Константена. Я был с ней хорош, она скоро свела меня с ними, и в две недели мне удалось выдать полиции целую шайку — всех восемнадцать человек; все они были приговорены к каторге, как и Константен.

В минуту отправления арестантской партии Константен, увидев меня, вышел из себя от бессильной ярости; он осыпал меня ругательствами и проклятиями, но, не обижаясь его грубыми выходками, я подошел к нему с самым хладнокровным видом и сказал ему:

— Странно, что такой прозорливый человек, который знал Видока, да и притом обладал драгоценной способностью распознавать полицейского издалека, как ворон, который чует порох, — странно, чтобы он дозволил провести себя за нос с такой легкостью!

Уничтоженный этой подавляющей репликой, Константен опустил глаза и замолчал.

Глава двадцать шестая

Полицейские агенты, набранные из освобожденных преступников. — Публичные женщины и их приятели. — Потворство воровству; слабость инспекторского надзора. — Уничтожение трех классов воров. — Братья Дельзев. — Как их накрыли. — Праздничный подарок префекту полиции. — Я избавляюсь от зависимости полицейских офицеров и инспекторов

Я не один состоял тайным агентом при охранительной полиции; у меня был помощник — один еврей по имени Гафре. Он состоял на службе прежде меня, но так как его принципы не подходили к моим, то мы не долго жили в ладу. Я узнал, что он ведет дурную жизнь, и уведомил об этом начальника отделения, который, убедившись, что я прав, выгнал его из службы и велел немедленно выехать из Парижа. При полиции состояло еще несколько лиц, которые, не отличаясь никакой особенной способностью к делу, обладали, однако, некоторой зоркостью, приобретенною ими в тюрьмах; они тем не менее не имели определенного содержания и получали плату только по числу выданных ими лиц. Эти последние были набраны из каторжников, выпущенных на волю. Были также воры по ремеслу, которых не преследовали в Париже, с тем условием, чтобы они выдавали всех мошенников, которых им удастся открыть. Часто, за неимением лучшего, они выдавали своих товарищей. За ними следовала, в третьей или четвертой серии, целая толпа негодяев, которые жили с публичными женщинами самого низкого разбора. Эта презренная каста часто доставляла драгоценные указания для арестования воров и карманников. Обыкновенно они всегда были готовы давать какие угодно объяснения, лишь бы освободили их любовниц, когда те бывали задержаны. Кроме того, пользовались еще услугами женщин, бывших в связи с известными неисправимыми ворами, которых от времени до времени отправляли высиживать срок в Бисетре. Это были

презренные подонки человеческого рода, но между тем необходимо было пользоваться ими, так как опыт, к несчастью, не раз доказывал невозможность полагаться на усердие и смышленость инспекторов. Администрация не имела, собственно говоря, желания употреблять на разыскание воров людей, не получающих содержания, но она была всегда рада воспользоваться услугами людей, которые по какой-нибудь причине посвящали себя полиции только под условием оставаться в тени. Г-н Анри давно уже понял, как опасно было употреблять эти обоюдоострые мечи, давно он уже мечтал избавиться от них и ввиду этого завербовал меня в полицию, которую хотел очистить от этих людей, хорошо известных своей склонностью к воровству. Есть болезни, которые врачи излечивают при помощи яда; очень может быть, что социальная проказа исцеляется подобными же средствами. Здесь яд был прописан в большой дозе, это видно из того, что почти все тайные агенты были накрыты мной на месте преступления и большинство их еще до сих пор в галерах.

При поступлении моем в полицию все тайные агенты обоих полов естественно должны были сплотиться против меня, предвидя скорый конец своему царствованию; они сделали все, что могли; чтобы продолжить его. Я считался непоколебимым и бесстрастным, я не хотел, как они выражались, забирать обеими руками, и они, конечно, объявили мне войну. Чего только они ни выдумывали, чтобы погубить меня, — тщетные усилия! Я выдерживал бурю, как старый дуб, который только слегка наклоняет свою вершину, несмотря на ярость урагана.

Каждый день на меня доносили, но голос моих доносчиков был бессилен. Г-н Анри, пользовавшийся влиянием префекта, ручался ему за мои действия; решено было, что каждый донос, направленный против меня, будет доводиться до моего сведения, с дозволением опровергать его письменно. Этот признак доверия понравился мне и доказал, что мое

начальство умело ценить мое рвение, и ничто на свете не могло бы заставить меня отказаться от поведения, которое я предначертал себе.

Чтобы иметь успех в чем бы то ни было, необходима некоторая доля энтузиазма. Я не надеялся сделать должность тайного агента уважаемой должностью, но я льстил себя надеждой, что сумею с достоинством и честью выполнить свои обязанности. Я хотел приобрести славу человека неподкупного, беспристрастного, неустрашимого и неутомимого; во всяком случае, я добивался, чтобы меня признали способным и смышленым. Успех моих усилий содействовал укреплению этого мнения. Вскоре г-н Анри стал во всем советоваться со мной; мы вместе проводили целые ночи, соображая средства к подавлению преступления, — и наши старания отчасти увенчались успехом: число жалоб на грабежи значительно уменьшилось и число воров сократилось. Скажу больше, было даже время, когда мелкие воришки серебра и карманники не подавали никаких признаков жизни. Позднее должно было народиться новое воровское племя, но по своей ловкости оно уже не могло превзойти людей вроде Бомбаса, Маркиза, Буко, Комнера, Бутэ, Пранже, Дорлэ, Лароза Гавара и Мартена и многих других хитрых мошенников, которых я привел к бездействию.

В течение целых шести месяцев я действовал один, без других вспомогательных средств, кроме нескольких публичных женщин, которые оказывали мне свои услуги, как вдруг непредвиденный случай поставил меня вне зависимости полицейских офицеров, до сих пор умевших приписать самим себе заслуги моих открытий. Это обстоятельство имело для меня большое преимущество, ясно доказав всю бездеятельность и недостаток энергии инспекторов, которые так горько жаловались, что я доставляю им слишком много работы. Начну рассказ издалека.

В 1810 году воровства нового рода, совершаемые с невообразимой дерзостью, дали полиции знать о существовании целой шайки злодеев нового разбора.

Почти все покражи совершались при помощи влезания и взлома; квартиры на первом и втором этажах обирались этими необыкновенными ворами, которые до тех пор льстились только на богатые дома; легко можно было заметить, что мошенники знали местность, как свои пять пальцев.

Все мои старания, чтобы открыть этих новых воров, не имели никакого успеха, как вдруг покража, сопряженная почти с непреодолимыми препятствиями, была совершена на улице Сен-Клод, около Бурбон-Вильнев, из второго этажа над антресолью, в том самом доме, где жил полицейский комиссар квартала. Веревка фонаря, повешенного у дверей, послужила лестницей для похитителей.

Небольшой парусинный мешок с овсом для лошадей был оставлен на месте преступления, что дало возможность предположить, что воры, по всей вероятности, были извозчики или, по крайней мере, они помогали при экспедиции.

Г-н Анри посоветовал мне собрать сведения об извозчиках, и мне удалось разузнать, что мешок с овсом принадлежал некоему Гюссону, извозчику за номером 712. Я сделал донос, Гюссон был арестован, и через него разыскали двух братьев Дельзев, из которых старший не замедлил также попасться в руки полиции. Допрошенный самим Анри, он вынужден был сделать несколько весьма важных разоблачений, вследствие чего был арестован некто Метраль, исполнявший должность полотера в доме императрицы Жозефины. Он был уличен в укрывательстве краденых вещей, доставляемых ему шайкой, почти исключительно состоявшей из савояров, уроженцев Леманского департамента. Продолжая поиски, мне удалось напасть на следы братьев Пилар, Гренье, Лебрена, Пьессара, Мабу, прозванного Аптекарем, Серассэ, Дюрана,

словом, двадцати двух человек, которые позднее все были приговорены к каторге.

Воры эти преимущественно были комиссионеры, полотеры и кучера, т. е. принадлежали к классу людей, среди которых всегда соблюдалась строгая честность и которые, издавна славились образцовой добросовестностью. В квартале все на них смотрели, как на людей испытанных, хороших, неспособных посягать на чужую собственность, и эта репутация делала их еще более опасными для лиц, у которых они состояли в услужении, распиливали лес и исполняли другую какую-либо работу: никто не питал к ним недоверия, всюду пускали их. Когда узнали, что они замешаны в скверной истории, не хотели даже и верить, чтобы они были действительно виновны. Сам я колебался и не доверял самому себе. Впрочем, существовали улики до такой степени явные, что наконец убедили всех, и пресловутая шайка савояров, существовавшая в столице несколько веков неприкосновенною, исчезла навсегда.

В течение 1812 года я предоставил в руки правосудия главных членов этой шайки. Впрочем, младший Дельзев все еще ускользал от поисков полиции. Это было 31 декабря; г-н Анри сказал мне:

— Я думаю, что если бы нам хорошенько приняться за дело, то удалось бы наконец изловить Рака (прозвище Дельзева); завтра Новый год, он непременно пойдет в гости к прачке, которая так часто доставляла ему убежище, или к ее брату. У меня есть какое-то предчувствие, что он придет непременно вечером, или ночью, или же, наконец, завтра поутру.

Я согласился с г-м Анри, и он велел мне с тремя инспекторами засесть в засаду где-нибудь поблизости к квартире прачки, которая жила в улице Грезильон, Фобур-Сент-Оноре.

Я выслушал это распоряжение с радостью, которая всегда предвещала мне удачу. В сопровождении трех инспекторов я

в семь часов вечера отправился в означенное место. Был страшный холод; земля была покрыта глубоким снегом — зима никогда еще не была так сурова.

Мы встали настороже; после нескольких часов тщетного ожидания инспектора, окоченевшие от мороза, хотели уже идти домой; я также до половины замерз, так как на мне надето было довольно тонкое платье комиссионера. Я стал, однако, возражать своим товарищам, и хотя мне самому было бы очень приятно уйти, но я уговорил их остаться до полуночи. Едва успел пробить назначенный для ухода час, как они стали настаивать, чтобы я исполнил свое обещание, и вот мы вместе покидаем засады, где нам предписано было дежурить до рассвета.

Мы направились к Пале-Роялю; одно из кафе было еще открыто, мы вошли туда погреться и, выпив по стакану теплого вина, расстались, каждый с намерением отправиться восвояси. Идя к себе домой, я задумался о том, что мы только что сделали. Можно ли было, думал я, так скоро позабыть данные нам инструкции? Нет, обманывать таким образом доверие начальника — это непростительная подлость. Мое поведение казалось мне не только предосудительным, но и заслуживающим строжайшего наказания. Я был в отчаянии, что подчинился влиянию инспекторов. Желая исправить свою ошибку, я решился один возвратиться в назначенное место и провести там всю ночь, хотя бы мне пришлось пожертвовать своею жизнью. Я вернулся туда и приютился в уголке, чтобы Дельзев не мог увидеть меня, в случае, если ему придет в голову фантазия прийти.

Прошло часа полтора, как я находился в этом положении; я чувствовал, что во мне застывает кровь, мое мужество и твердость мало-помалу ослабевают. Но вдруг меня осеняет блестящая мысль: неподалеку находилась навозная куча, я спешу к ней, вырываю яму достаточно глубокую, чтобы иметь возможность встать в нее по пояс, зарываюсь в навоз,

и приятная теплота его вскоре разливается по моим окоченевшим членам. В пять часов утра я еще не покинул своего убежища, где чувствовал себя довольно хорошо, не говоря о запахе. Наконец дверь дома осторожно отворилась, — вышла женщина, не заперев за собой двери. Я незаметно выбрался из своей ямы и отправился во двор; осмотревшись кругом, я нигде не мог заметить огня.

Я знал, что союзники Дельзева имеют обыкновение звать друг друга свистками, похожими на свистки кучеров. Я свистнул, подражая их манере, и во второй раз услышал голос:

— Кто зовет?

— Это Кочегар (прозвище кучера, от которого Дельзев выучился править) зовет Рака.

— Ты это, что ли? — раздается еще раз голос Дельзева.

— Да, да, Кочегар хочет тебя видеть, сойди вниз.

— Сейчас иду, погоди минутку.

— Слишком холодно, — ответил я, — я пойду подожду тебя в шинке, там на углу улицы, только поторопись, слышишь ли!

Шинкарь уже отпер свое заведение; в первый день нового года, понятно, торговля начинается ни свет ни заря.

Я нисколько не был расположен выпить. Чтобы обмануть Дельзева, я отворил дверь коридора и, не выходя в нее, поспешно снова захлопнул ее и спрятался на черной лестнице, идущей во двор. Вскоре я услышал шаги Дельзева по лестнице; прямо направившись на него, я схватил его за шиворот и, приставив ему пистолет к груди, решительно объявил ему, что он мой пленник.

— Следуй за мной, — сказал я, — и помни, что достаточно малейшего жеста, чтобы я без всякой жалости размозжил тебе череп пистолетом. Знай к тому же, что я не один.

Онемев от ужаса и удивления, Дельзев не ответил ни слова и машинально последовал за мной; с этой минуты я овладел им и он не мог ни бежать, ни оказать мне сопротивления.

Я поспешил увести его. На часах пробило шесть в ту минуту, когда мы вошли в улицу Рошэ. Мимо проехал фиакр, я подал ему знак остановиться. Состояние, в котором я находился, должно было, весьма понятно, внушить некоторое беспокойство кучеру относительно опрятности его экипажа, но я предложил заплатить ему двойную цену, и, соблазнившись хорошим заработком, он согласился везти нас. И вот мы покатились по столичной мостовой. Для пущей безопасности я связал по рукам и ногам своего спутника, который, опомнившись и придя в себя от первого удивления, мог возмутиться против меня. Я обошелся бы и без этого средства, рассчитывая на свою силу, но так как я намерен был исповедовать его, то не хотел ссориться с ним, а всякое насилие с моей стороны в случае его сопротивления непременно имело бы такой результат. Поставив Дельзева в невозможность бежать, я старался вразумить его. Чтобы умаслить его, я предложил ему закусить, он согласился. Кучер принес нам вина, и мы продолжали путь, попивая понемногу.

Было еще очень рано; убежденный, что я могу извлечь выгоду из этого разговора наедине, я предложил Дельзеву поехать завтракать в одно место, где нам отведут отдельную комнату. Он уже окончательно успокоился и вовсе не казался рассерженным. Мое предложение он принял с готовностью, и мы направились в знакомую гостиницу. Еще не успели мы туда доехать, как он уже доставил мне множество неоценимых сведений о своих товарищах и сообщниках, еще находящихся на свободе. Я был уверен, что за столом он окончательно разговорится, и дал понять ему, что единственное средство заслужить снисходительность правосудия — это сделать некоторые разоблачения. Чтобы укрепить его в этом решении, я привел ему несколько аргументов, основанных на философии, которую я всегда применял с успехом, чтобы утешить заарестованных. Словом, он был настроен как нельзя лучше, когда экипаж остановился у входной двери в гостиницу. Я тотчас же повел

его наверх, заставляя идти впереди себя, и прежде нежели приняться за карточку, я сказал ему, что, желая есть спокойно, я прошу его позволить мне привязать его по-своему, согласившись предоставить полную свободу его рукам. За столом это очень удобно. Он не обиделся этой предосторожностью, и вот что я сделал: взяв обе наши салфетки, я привязал его ноги к ножкам стула, на расстоянии вершков двух или полутора от пола, что мешало ему даже сделать попытку высвободиться, не рискуя разбить себе нос. Он позавтракал с большим аппетитом и обещал повторить в присутствии г-на Анри все, в чем признался мне. В полдень мы напились кофе. Дельзев был немного навеселе, и мы вернулись в фиакр, совершенно помирившись и даже подружившись. Десять минут спустя мы были уже в префектуре. Г-н Анри был окружен своими офицерами, которые явились поздравить его с Новым годом. Я вошел и приветствовал его: «Честь имею поздравить вас с Новым годом, — сказал я, — и представить вам знаменитого Дельзева».

— Вот это называется славный праздничный подарок, — сказал г. Анри, увидев пленника. Потом, обращаясь к окружающим его чиновникам и офицерам, он сказал: — Желательно было бы, господа, чтобы каждый из вас мог поднести такой же подарок г. префекту.

Мне тотчас же был отдан приказ отвести Дельзева в место предварительного заключения; на прощанье Анри милостиво обратился ко мне со словами:

— Видок, ступайте отдыхать, я доволен вами.

Арест Дельзева доставил мне самые лестные похвалы и доказательства расположения; но в то же время это обстоятельство еще более увеличило ненависть, которую чувствовали ко мне мои сослуживцы. Один только из них, г. Тибо, не переставал оказывать мне справедливость.

Как бы сговорившись с мошенниками и неблагонамеренными людьми, все чиновники, которым не так везло по службе

при полиции, метали на меня гром и молнию; если послушать их, так это был просто скандал, подлость — тратить свое усердие на то, чтобы очищать общество от разбойников, нарушающих его спокойствие. По их словам, я был известный вор: каких только преступлений я ни совершал, на что только ни был способен! Вот какие обо мне распространяли слухи мои недоброжелатели. Может быть, они и сами верили им отчасти, по крайней мере, воры были убеждены, что я когда-то занимался их ремеслом. Прежде нежели они попадали в мои сети, они принуждены были верить, что я принадлежу к их компании; а потом, попавшись, они смотрели на меня как на изменника, но тем не менее я был для них мазуриком высшей школы, только я воровал безнаказанно, потому что полиция нуждалась во мне. Вот сказка, которая ходила обо мне по острогам. Полицейские офицеры и второстепенные агенты не прочь были распространять ее, выдавая за истину, а может быть, они в самом деле не думали клеветать меня, становясь отголоском презренных людей… Конечно, проверив мои антецеденты, всякий был вправе думать, что я был вором, так с незапамятных времен все сыщики выполняли эту двойную профессию; все знали, что так же начали свою карьеру Гупиль, Флорантен, Левек, Коко-Какур, Бурдари, Кадэ и другие мои предшественники или помощники. Они видели, что большинство сыщиков — рецидивисты, и так как я им казался более хитрым, более деятельным, более предприимчивым, нежели те, то они и заключили, что если я самый ловкий из полицейских, то, вероятно, и самый ловкий из воров.

Я от души прощаю им это ложное суждение, но я не мог простить отвратительного обвинения, будто я занимаюсь воровством постоянно.

Г-н Анри, возмущенный таким нелепым обвинением, отвечал им замечанием: «Если правда, что Видок ежедневно совершает покражи, то еще более основания обвинять вас

в неспособности: он один, а вас много, вы знаете наверное, что он ворует, отчего бы вам не уличить его на месте преступления? Ему одному удалось накрыть на месте многих ваших товарищей, а вы все вместе не можете отплатить ему тем же?»

Инспектора не находили, что отвечать, и молчали; но так как было ясно, что вражда, которую они ко мне чувствовали, со временем еще более усилится, то префект полиции решился освободить меня от их зависимости. С этих пор я был совершенно свободен и действовал, как мне заблагорассудится. Я получал непосредственные распоряжения от г-на Анри и был обязан отдавать отчеты ему одному и никому другому.

Я удвоил бы свое усердие, если бы только это было возможно. Г-н Анри не боялся, чтобы мое рвение и моя преданность делу ослабели, но так как были люди, ненавидящие меня насмерть и готовые сжить меня со света, то он дал мне помощника, который должен был следить за мной издали и предупреждать в случае угрожающей мне опасности. Обособление, в которое я был поставлен, необычайно повлияло на мои успехи; я открыл множество воров, долгое время ускользавших от правосудия и которые еще долее не поддались бы мне, если бы я все еще находился под опекой полицейских офицеров и целого сонма инспекторов. Но беда была в том, что так как мне чаще приходилось быть в деле, то я стал более известен. Воры решили между собой отделаться от меня. Не раз я подвергался опасности пасть жертвой их злобы; но моя физическая сила и, смею сказать, мое мужество, всякий раз помогали мне выйти целым и невредимым из самых замысловатых ловушек. Несколько попыток с их стороны, всегда неуспешных, показали им, что я решился дорого продать свою жизнь.

Глава двадцать седьмая

Я отыскиваю двух известных мазуриков. — Учительница музыки, или еще матушка воров. — Гостеприимство. — Фабрика поддельных ключей. — Хитрая комбинация. — Коварство агента. — Тетушка Ноель сама себя обкрадывает, а меня упрекает в воровстве. — Моя невинность обнаруживается

Редко случается, чтобы каторжник бежал с намерением исправиться; чаще всего он только задается целью добраться поскорее до столицы и там пустить в ход роковое искусство, вынесенное им из галер, которые, подобно большей части наших тюрем, служат школой, где люди совершенствуются в искусстве присваивать чужую собственность. Почти все известные воры достигли высшего искусства в своем ремесле после более или менее продолжительного пребывания в галерах. Некоторые из них были осуждены раза четыре-пять, прежде нежели стали известными своей ловкостью; таковы были пресловутые Виктор Дебуа и его товарищ Монженэ, прозванный Барабаном, которые, появляясь в различные времена в Париже, совершили множество таких подвигов, о которых народ любит рассказывать, как о деяниях доблести и отваги.

Эти люди, которые в течение долгих лет бесчисленное число раз отправлялись на каторгу и которым всегда удавалось бежать, в это время снова находились в Париже. Полиция была об этом извещена, и я получил приказание немедленно приступить к розыскам. Изо всего можно было вывести заключение, что они имели сношения с остальными осужденными, не менее опасными. В подозрении находилась одна учительница музыки, сын которой, Ноель, был известным разбойником; эта женщина, как утверждали, давала убежище всем мошенникам. Мадам Ноель была женщина образованная и отличная музыкантша; в среднем классе буржуа, которые приглашали ее учить музыке своих барышень, она слыла за виртуозку. Она ходила по урокам в квартале

Сен-Дени; изящество ее манер и языка, вкус в нарядах и известный оттенок величия и гордости, который не изглаживается даже превратностями судьбы, — все это заставляло думать, что она принадлежала к одному из многочисленных семейств, пришедших в упадок после революции. С виду и по разговору мадам Ноель была очень интересная маленькая женщина; к тому же было что-то трогательное во всей ее жизни — у нее была тайна: судьба ее мужа никому не была известна. Одни утверждали, что она рано овдовела, другие, что ее бросил муж, третьи, наконец, что она жертва соблазнителя. Не знаю, которое из этих предположений ближе всего подходило к истине, знаю только, что мадам Ноель была маленькая пикантная брюнетка, с живыми, лукавыми глазками, в которых светилась, однако, кротость, с любезной улыбочкой и чрезвычайно приятным голосом. В ней были соединены качества ангела и злого духа, более последнего, нежели первого; года оставили на ее лице отпечаток дурных страстей.

Мадам Ноель была добра и любезна к тем лишь лицам, которые имели какое-нибудь дело с правосудием; она принимала их с таким же радушием, как мать солдата принимает товарищей своего сына. Чтобы заслужить ее расположение, нужно было быть одного полка с ее возлюбленным Ноелем, и тогда, отчасти из любви к нему, отчасти же просто из собственного расположения, она любила оказывать им всевозможные услуги. Поэтому-то на нее смотрели, как на мать и покровительницу; у нее все они останавливались, она заботилась об их нуждах. Часто она простирала свою любезность до того, что искала им работы, а когда они нуждались в паспорте, то она не успокаивалась до тех пор, пока ей не удавалось раздобыть его. У мадам Ноель было обширное знакомство из женщин; обыкновенно паспорт брали на имя одной из них. Получив его, выводили кислотой имя и приметы и ставили на их место другие, по

желанию. Мадам Ноель имела даже целую коллекцию таких паспортов на всякий случай.

Все каторжники были дети мадам Ноель, только она преимущественно ласкала и ухаживала за теми, кто имел сношения с ее сыном. К ним она чувствовала необычайную нежность и безграничную преданность. Дом ее был открыт всем беглым каторжникам, и, вероятно, даже они чувствовали к ней благодарность, так как не раз случалось, что они приходили к ней и рисковали собой единственно из удовольствия ее видеть; она была хранительницей всех их тайн, приключений, планов и тревог, Они доверялись ей во всем, не стесняясь, и надеялись на ее верность, как на каменную гору.

Тетушка Ноель никогда не видела меня в лицо, черты мои были ей незнакомы, но она часто слышала мое имя; поэтому мне было бы небезопасно явиться к ней, не возбудив подозрения; но я задался целью выудить у нее сведения о том, куда скрылись люди, которых мне нужно было отыскать. Я, однако, предчувствовал, что мне предстоит немало труда при исполнении моего плана. Прежде всего я решился выдать себя за беглого каторжника, но для этого мне необходимо было заимствовать имя какого-нибудь вора, которого ее сын или его товарищи описывали ей в выгодном свете. Кроме того, необходимо было некоторое сходство; я тщетно перебирал в уме знакомых мне картежников и не находил ни одного, кто был бы хорош с Ноелем. Роясь в своих воспоминаниях, я набрел наконец на некоего Жермена, прозванного Капитаном, который был близок с Ноелем; хотя он не походил на меня ни капли, но тем не менее я решился воспользоваться его именем.

Жермен, как и я, неоднократно совершал побеги с каторги, — вот все, что между нами было общего. Он был приблизительно моих лет, но гораздо меньше ростом. Он был худощав, а я довольно плотен, цвет лица у него был смуглый, а у меня белый и румяный, Заметьте к тому же, что у Жермена

был длиннейший нос, поглощавший громадное количество нюхательного табаку, и что он говорил в нос вследствие болячек под носом. Мне предстояло немало хлопот, чтобы разыграть роль Жермена. Но трудности не пугали меня; мои волосы, подрезанные по моде каторжников, были выкрашены в черную краску, так же как и борода, которую я отпускал в продолжение целой недели. Чтобы придать своему лицу смуглый цвет, я намазался настоем ореховой скорлупы; чтобы довершить превращение, я подделал болячки с помощью гуммиарабика с кофе. Это украшение не было излишним, оно дало мне возможность говорить в нос, как Жермен. Мои ноги были также приспособлены самым тщательным образом; я сделал себе искусственную опухоль с помощью композиции, рецепт которой мне сообщили в Бресте. Я также подделал следы оков. Когда эта операция была окончена, я оделся в платье, соответствующее моему положению. Я не упустил из виду ничего, что могло бы придать сходство с оригиналом, не забыл ни обуви, ни белья, намеченного роковыми буквами Г. А. Л.

Костюм был подделан в совершенстве, недоставало только нескольких сотен насекомых, населяющих жилища нищеты и которые, вероятно, как саранча и гады, составляли одну из семи казней египетских. Я достал их за деньги и, как только они были акклиматизированы, отправился к тетушке Ноель, жившей в улице Тиктон.

Прихожу, стучу в дверь. Она сама вышла отворить мне. Один взгляд, брошенный на меня, объяснил ей все.

— Ах, бедный малый! — воскликнула она, — напрасно и спрашивать, откуда вы явились. Я уверена, что вы умираете с голоду.

— Еще бы! Как не быть голодным! Вот уж двадцать четыре часа, как у меня маковой росинки не было во рту.

Не ожидая дальнейших объяснений, она быстро исчезла и явилась с колбасой и бутылкой вина, которые поставила

передо мной. Я стал пожирать яства с жадностью. Колбаса уже исчезла, а я еще второпях не произнес ни единого слова. Мадам Ноель в восторге от моего аппетита. Когда я все съел дочиста, она принесла мне трубку.

— Ах, тетушка, — сказал я, бросившись к ней на шею, — вы спасаете мне жизнь. Ноель правду говорил мне, что вы так добры.

И я начал рассказывать ей, что оставил ее сына восемнадцать дней тому назад, и сообщил ей различные сведения об интересующих ее арестантах. Подробности, которые я сообщал, были до такой степени правдоподобны, что ей и в голову не могло прийти, что я обманщик.

— Вы, наверное, не раз слыхали кое-что обо мне, — продолжал я, — много мне пришлось выносить невзгод. Зовут меня Жерменом, и прозван я Капитаном. Вам, верно, известно мое имя!

— Как не быть известным, — сказала она, — я знаю вас, как родного; Боже мой! мало ли рассказывали о ваших несчастиях мой сын и его друзья. Но Господи, в каком вы виде! Вы не можете долее остаться в таком положений. Вас, кажется, беспокоят скверные животные; позвольте, дам вам чистое белье и одену вас поприличнее.

Я выразил благодарность мадам Ноель и, как только мог это сделать, впрочем, не без неудобств, осведомился, где теперь находятся Виктор Дебуа и его товарищ Монженэ.

— Дебуа и Барабан! Ах, милый мой, уж лучше об них и не говорите, — ответила она, — шельма Видок много им насолил. С тех пор как Жозеф (Жозеф Лонвиль, бывший полицейский чиновник), которого они два раза встретили на улице, сказал им, что полиция ищет их в квартале, они больше и носу сюда не показывают.

— Как! Может быть, их нет в Париже? — воскликнул я, разочарованный.

— О, нет, они недалеко, — успокоила меня Ноель, — они не покинули окрестностей столицы. Я их еще видаю иногда издали и надеюсь, что скоро они забегут ко мне на часок-другой. Вот обрадуются-то, увидев вас!

— Уж наверное обрадуются не больше меня, и если бы вы могли черкнуть им словечко, то я уверен, что они поспешили бы позвать меня к себе.

— Если б я знала, где они, — возразила мадам Ноель, — то я сама бы не поленилась пойти к ним и привести их, чтобы вам сделать удовольствие. Но дело в том, что я не знаю, где они живут, и лучше всего нам вооружиться терпением и ждать.

В качестве вновь прибывшего я поглощал все внимание мадам Ноель, она мною только и занималась.

— Знает вас Видок и его две ищейки — Левек и Компер? — спросила она.

— Увы, знает, — ответил я, — меня арестовали уже два раза.

— В таком случае, чур, берегитесь. Видок искусно переодевается; если бы вы знали, какие только костюмы он ни напяливает, чтобы поймать в ловушку таких бедняг, как вы!

Мы разговаривали часа два, наконец мадам Ноель предложила мне взять ножную ванну. Я согласился. Когда я стал разуваться, ей чуть не сделалось дурно.

— Как мне жаль вас, бедняжечка, — сказала она в порыве материнской чувствительности, — что бы вам прежде сказать, ну разве вас не стоит побранить за это!

И, осыпая меня упреками, она стала на колени и сочла своим долгом освидетельствовать мои ноги. Проколов каждый волдырь, она приложила ваты с составом, действие которого поразительно быстро. Было что-то трогательное и идеальное в этих попечениях гостеприимства; недоставало для пущего эффекта, чтобы я был каким-нибудь знатным странником, а она благородной незнакомкой. Окончив перевязку, она при-

несла мне чистое белье, и так как она ничего не забывала, то вручила мне бритву, напомнив, чтобы я побрился.

— Потом надо будет, — прибавила она, — купить вам платье рабочего в Тампле, — это общее прибежище всех людей в беде. Иногда там находишь платье почти новое.

Как только я обмылся, мадам Ноель повела меня в спальню — это была комната, служившая мастерской для фабрикации поддельных ключей. Вход в нее был замаскирован юбками, развешанными на вешалке.

— Вот, — сказала она, — постель, на которой спали многие ваши товарищи. Спите с Богом, здесь полиция не откопает вас ни за что на свете.

— Уж это конечно, — ответил я, — позвольте мне в самом деле пойти отдохнуть немного.

Она оставила меня одного. Надо было держать ухо востро, разговаривая с тетушкой Ноель; не было ни одной привычки, свойственной каторжникам, которую она не знала бы как свои пять пальцев. Она не только запомнила имена всех воров, которых видела, но была знакома с малейшими подробностями и особенностями их жизни. Она с энтузиазмом рассказывала историю самого известного из них, именно ее сына, к которому она питала странную любовь и какое-то обожание.

— Очень вы были бы рады повидать своего милого сынка? — спросил я.

— Ах, еще бы не рада!

— Ну, так могу вам сказать, что вы скоро будете иметь это счастие. Ноель уж совсем приготовился к побегу и выжидает только удобного случая.

Мадам Ноель была счастлива надеждой в скором времени обнять своего сына. Она проливала слезы радости и умиления. Признаюсь, я сам был тронут и умилен и стал уже думать, что на этот раз мне не удастся совладать со своей ролью

сыщика. Но, поразмыслив о преступлениях семейства Ноель и приняв во внимание интересы общества, я остался тверд и несокрушим в своем намерении преследовать свою задачу до конца.

Во время нашего разговора мадам Ноель спросила меня, не имею ли я в виду какого-нибудь дельца (воровства), и, предложив предоставить мне занятие, если я сам такого не найду, она расспросила меня, знаком ли я с искусством подделывать ключи. Я ответил, что не уступаю в искусстве самому Фоссару.

— Если так, — сказала она, — то я спокойна, вы скоро будете пристроены; если вы искусны в этом деле, то я куплю у слесаря ключ, который вы приспособите к моему секретному замку и будете держать его при себе, чтобы вам можно было входить и выходить, когда вам только будет угодно.

Я высказал ей, насколько тронут ее добротой и обязательностью, и, так как становилось поздно, то я пошел спать, размышляя, как бы мне вырваться из этого вертепа, не подвергнись опасности быть зарезанным, если бы мошенники, которых я искал, как-нибудь случайно пришли прежде, нежели я успею принять свои меры.

Я не смыкал глаз и встал, как только услышал, что Ноельша разводит огонь. Она заметила мне, что я встаю с петухами, и объявила, что отправляется по моим делам. Через несколько минут она принесла мне старый ключ, маленькие клещи и напилок, который я приделал к спинке кровати, и, снабженный этими принадлежностями, принялся за работу в присутствии своей хозяюшки, которая не могла нахвалиться моей ловкостью. Более всего она восхищалась быстротой моей работы; действительно, часа через четыре я сфабриковал хороший ключ. Я примерил его, он отпирал замок почти в совершенство. Таким образом мне была дана возможность входить в квартиру, когда мне заблагорассудится.

Словом, я сделался пансионером тетушки Ноель. После обеда я сообщил ей, что иду прогуляться, пользуясь сумерками, чтобы удостовериться, можно ли будет привести в исполнение задуманное мною дело. Она одобрила мое намерение, напомнив мне, что я должен быть осторожнее.

— Этот разбойник Видок, — заметила она, — очень опасен, и если бы я была на вашем месте, я ничего бы не предпринимала до тех пор, пока ваши ноги окончательно не выздоровеют.

— О, я не пойду далеко, — ответил я, — да и пробуду-то недолго.

Мои уверения, что я скоро вернусь, по-видимому, несколько успокоили её.

— Ну, ступайте с Богом, — напутствовала она меня, и я вышел, прихрамывая.

До сих пор все шло как по маслу; трудно было снискать большую благосклонность со стороны матушки Ноель, но, оставаясь в ее доме, мог ли я ручаться за то, что меня не убьют? Разве не могут прийти разом двое-трое каторжников и устроить мне скверную штуку? В таком случае прощайте все комбинации, придется расстаться с плодами дружбы мадам Ноель и принять меры на всякий случай. Было бы неблагоразумно дать ей подозревать, что у меня были причины избегать зорких глаз ее друзей, поэтому я старался довести ее до того, чтобы она сама убедила меня, что в моих интересах мне не следует ночевать у нее.

Я заметил, что Ноельша была в большой дружбе с торговкой фруктами, жившей в том же доме. Я направил к этой женщине некоего Нансо, одного из своих агентов, и поручил ему расспросить ее потихоньку насчет мадам Ноель. Продиктовав вопросы, я был совершенно уверен в успехе своего плана и в том, что фруктовщица не замедлит открыть нашу попытку своей приятельнице, тем более что я велел своему посланному посоветовать ей соблюдать строгую тайну.

На деле оказалось, что я был прав. Едва успел мой поверенный выполнить свою миссию, как фруктовщица поспешила сообщить об этом мадам Ноель, а та, в свою очередь, тотчас же доверила мне эту тайну. Она вышла за ворота, чтобы подстеречь меня, и, увидев меня издали, прямо направилась ко мне и без предисловий пригласила последовать за ней. Я отправился с нею; дойдя до площади Победы, она остановилась, осмотрелась вокруг и, уверившись, что никто за нами не наблюдает, приблизилась ко мне и рассказала, что ей сообщили.

— Итак, вы видите, — сказала она, — мой бедный Жермен, что было бы неблагоразумно ночевать у меня в доме; лучше всего вам вовсе не приходить ко мне днем.

Мадам Ноель и не подозревала, что эта неудача, искренно огорчившая ее, была делом рук моих. Чтобы не допустить ее до подозрений, я притворился еще более огорченном, нежели она сама; я проклинал с ругательствами эту сволочь Видока, который не давал нам покоя. Я сожалел о необходимости искать ночлега вне Парижа и распростился с мадам Ноель, которая, пожелав мне успеха и скорого возвращения, сунула мне в руку монету в тридцать франков.

Я знал, что она ожидает Дебуа и Монженэ. Кроме того, меня уведомили, что в квартиру и из квартиры те и дело шныряли какие-то личности, не стесняясь отсутствием мадам Ноель; напротив, это почти всегда случалось, когда она отправлялась в город на уроки. Мне необходимо было узнать все дома, которые она посещает. Чтобы достигнуть этого, я переодел нескольких своих помощников и расставил их по углам улиц, где присутствие их среди посыльных не могло показаться подозрительным.

Приняв эти предосторожности и чтобы сделать вид, что опасаюсь полиции, я несколько дней не ходил к Ноельше. По истечении этого срока я явился к ней вечером с молодым человеком, которого представил ей за брата одной девушки,

с которой жил и которая дала мне убежище в Париже. Молодой человек этот был сыщик. Я предупредил свою хозяйку, что он пользовался моим полным доверием и что она смело может положиться на него, как на меня самого, и что, так как его не знала полиция, то я выбрал его, чтобы посылать к ней всякий раз, как сочту неблагоразумным показываться сам.

— Отныне, — прибавил я, — он будет нашим посредником и будет являться два или три раза на день, чтобы осведомиться о вас и о моих друзьях.

— Жалко, что вы не пришли двадцатью минутами раньше, — сказала мадам Ноель, — а то вы увидели бы женщину, которая вас хорошо знает.

— Кто же это такая?

— Сестра Маргери.

— Ах да, она часто видела меня с братом.

— Поэтому-то, когда я с ней говорила о вас, она описала вас как нельзя вернее: эдакий, говорит, мозглявый, и всегда-то у него полон нос табаку.

Мадам Ноель очень сожалела, что я не пришел ранее и не повидался с сестрой Маргери, но я со своей стороны, конечно, радовался, что избавился от свидания, которое расстроило бы все мои планы. И в самом деле, если эта женщина знала Жермена, то она знала и Видока, и невозможно было бы, чтобы она приняла одного за другого — разница была так велика! Хотя я и гримировался довольно искусно, но сходство, полное в описании признаков, было очень слабо при тщательном рассмотрении и в особенности, если судьями были лица близкие. Мадам Ноель дала мне весьма полезное предостережение, рассказав, что к ней часто приходила в гости сестра Маргери. С этих пор я дал себе слово, что эта женщина меня никогда не увидит, и, чтобы избегнуть с ней встречи, я всегда подсылал вперед своего мнимого родственника, который получил инструкцию давать мне знать, тут она или нет, прилепив облатку к оконному стеклу. На этот сигнал

я являлся, а мой поверенный становился настороже где-нибудь в окрестностях, чтобы избавить меня от неприятного сюрприза. Неподалеку стояли другие мои помощники, которым я отдал ключ мадам Ноель, чтобы они могли подать мне помощь в случае, если бы я попался в компанию беглых каторжников и если бы они, узнав меня, бросились на меня. Между нами было условлено, что я разобью стекло кулаком и тогда они должны поспешить ко мне и помочь против разбойников.

Как видите, я оградил себя кругом всевозможными мерами предосторожности; однако развязка приближалась. Был вторник: от людей, которых я разыскивал, было получено письмо, в котором они объявляли, что прибудут к будущей пятнице. Для них эта пятница должна быть роковым днем. С утра я пристроился в соседнем кабачке, и чтобы не дать им случая заметить меня, если бы они по своему обыкновению стали бродить по улице взад и вперед, прежде чем войти в дом мадам Ноель, я послал к ней моего мнимого родственника, который вскоре вернулся и объявил мне, что я могу смело войти, так как сестры Маргери там нет.

— Ты не обманываешь меня, надеюсь? — заметил я сыщику, голос которого показался мне каким-то странным и взволнованным. Я пристально уставил глаза на лицо этого человека, как будто хотел пронзить его душу, и мне показалось, что мускулы его лица слегка подергиваются, как у человека, который намерен что-то скрыть. Словом, какое-то смутное предчувствие говорило мне, что я имел дело с мошенником. Первое впечатление озарило меня как молнией; мы были тогда в отдельной комнате. Я схватил своего собеседника за ворот и сказал ему в присутствии его товарищей, что если он тотчас же не сознается, то он погиб. Пораженный, уничтоженный, он пробормотал несколько слов извинения и, повалившись передо мною на колени, признался, что он все открыл мадам Ноель.

Это коварство, если бы я заранее не отгадал его, может быть, стоило бы мне жизни. Впрочем, моя личность была тут делом второстепенным, мне досадно было в интересах общества, что мне приходится потерпеть фиаско так близко от цели. Изменник Нансо был арестован и, так как за ним водились грешки, несмотря на его молодость, то его отправили в Бисетр, а позднее на остров Олерон, где он и покончил свою карьеру.

Само собою разумеется, что беглые арестанты более не вернулись в улицу Тиктон, но тем не менее они были арестованы в скором времени.

Мадам Ноель не могла простить мне скверной шутки, которую я сыграл с ней. Чтобы отомстить, она вынесла из своей квартиры почти все вещи и потом, исполнив этот маневр, вышла, не затворив двери, и стала кричать, что ее обокрали. Соседей призвали в свидетели, комиссару было сделано заявление, и мадам Ноель обвинила меня в воровстве, под тем будто бы предлогом, что у меня был ключ от ее комнат. Обвинение было немаловажное; его тотчас же предъявили в префектуру полиции, и на другой же день я получил повестку явиться туда немедленно. Мое оправдание было очень просто. Префект и г. Анри сразу увидели, что тут обман и клевета. Возбужденное префектурой следствие повело к тому, что все пропавшие вещи были отысканы, а чтобы дать тетушке Ноель время раскаяться, ее заключили месяцев на шесть в Сен-Лазар.

Глава двадцать восьмая

Полицейские офицеры на поисках за одним знаменитым вором. — Им никак не удается поймать его. — Я обещаю префекту новый подарок в Новый год. — Желтые занавеси и горбатая девушка. — Касса полицейской префектуры. — Я превращаюсь в угольщика. — Треволнения одного кабатчика и его супруги. — Опасность давать одеколон. — Похищение мадам Тонно. — Следствие. — Как полезно запирать двери. — Прыжок в окно. — Сальто-мортале и лопнувшие швы

Я упоминал о неприятностях, которые причинила мне измена одного агента. Я давно уже знал ту истину, что тайна сохранна до тех пор, пока никому не доверишь ее; но печальный опыт, который мне пришлось вынести, еще более укрепил меня в необходимости действовать по мере возможности одному; так я и сделал и следующем, довольно важном случае. Двое беглых каторжников, рецидивистов, некто Горо и Флорентен, прозванный Шателеном, находились в Бисетре в качестве неисправимых воров. Утомленные заключением в тесных конурах, они обратились к г-ну Анри с письмом, в котором обещали представить все сведения для того, чтобы дать возможность захватить нескольких из их товарищей, занимающихся воровством в Париже.

Некто Фоссар, приговоренный на каторгу пожизненно и несколько раз бегавший с галер, считался самым искусным, самым ловким и вместе с тем самым опасным из них. «Фоссар, — писали они, — человек редкой отваги, к нему нельзя подходить иначе, как с предосторожностями; всегда вооруженный с головы до пят, он задался твердым намерением пустить пулю в лоб всякому полицейскому агенту, который осмелился бы арестовать его».

Высшие чиновники администрации, конечно, желали избавить столицу от такого сокровища; первой их мыслью бы-

ло поручить мне выследить его; но неблагонамеренные советчики заметили г-ну Анри, что Фоссар слишком хорошо меня знает, его любовница также, чтобы такое щекотливое поручение могло удаться мне, поэтому решено было прибегнуть к услугам полицейских агентов. В их распоряжение передали все сведения, которыми они могли бы руководиться в своих поисках. Но или им не посчастливилось, или же им вовсе не желательно было встретиться с Фоссаром, вооруженным с ног до головы, только этот вор преспокойно продолжал свои подвиги, и многочисленные жалобы на него доказывали, что, невзирая на кажущееся рвение и усердие, господа офицеры, по обыкновению, больше шумели, нежели действовали.

Вследствие этого префект, любивший, чтобы дело делалось скромно и втихомолку, в один прекрасный день призвал их к себе и сделал им несколько внушений, должно быть, довольно серьезных, судя по неудовольствию, которое они не в силах были скрыть.

Им только что задали головомойку, когда мне случилось встретить на улице одного из них, Иврие. Я поклонился ему. Увидев меня, он подошел ко мне и сказал рассерженным голосом: «Это вы, милостивый государь, великий герой, совершитель подвигов! По вашей милости мы получили выговор по поводу какого-то Фоссара, беглого каторжника, который, говорят, скитается по Парижу. Послушаешь г-на префекта, так только вы и способны на что-нибудь путное. Он говорит, что если бы Видока послали на поиски, то без сомнения он давно бы арестовал его. Так в чем же дело, г-н Видок? Вы ведь так ловки, вот и постарайтесь изловить его, докажите свое искусство».

Иврие был старик, и я воздержался отвечать как следует на его дерзкую выходку. Хотя я был обижен желчным тоном, которым он говорил со мною, но я не рассердился и только сказал, что мне пока недосуг заниматься Фоссаром, но что это

подарок, который я намерен сделать к первому января префекту, подобно тому, как в прошедшем году преподнес ему Дельзева.

— Ну ладно, ладно, — возразил Иврие, раздраженный моим насмешливым тоном, — последствия покажут нам, кто вы такой: хвастун, мечтающий о себе невесть что. — И он отошел от меня, бормоча сквозь зубы некоторые другие эпитеты, которые относил ко мне и которые я даже не расслышал. После этой сцены я отправился в канцелярию к г-ну Анри и рассказал ему все.

— Да, они сильно озлоблены, — сказал он, улыбаясь, — ну тем лучше, это доказывает лишь то, что они сознают ваше искусство; я вижу, что эти господа похожи на евнухов в серале. Потому, что сами ни на что не способны, они думают, что и другие также бессильны.

Затем он дал мне следующее указание: Фоссар проживает в Париже, в улице, идущей от рынка к бульвару, т. е. из улицы Артуа в улицу Пуассоньер, пройдя через улицу Монторгель; неизвестно, в котором этаже он живет, но квартиру его можно узнать по окнам с желтыми занавесями и по другим занавесям из белой вышитой кисеи. В том же доме живет маленькая горбатая швея, которая дружна с любовницей Фоссара.

Как видите, сведения эти не были настолько точными, чтобы можно было прямо идти к цели. Не совсем-то легко было отыскать горбатую женщину и желтые занавеси на большом пространстве, которое было мне указано. Мало ли горбатых женщин, и старых и молодых, проживает в Париже, мало ли, наконец, желтых занавесей? В сущности, указания были крайне неопределенны, а задачу надо было решить во что бы то ни стало. Я, однако, попытался, в надежде, не наведет ли меня мой добрый гений на истинный путь.

Я еще не знал, с чего мне начать, впрочем, я предвидел, что в моих поисках мне придется иметь дело с женщинами

из простонародья, с кумушками и даже с развратными женщинами, и я тотчас же решил в уме, как мне следует переодеться на этот случай. Очевидно, что мне необходимо было принять вид почтенного, пожилого господина. С помощью нескольких поддельных морщин, напудренного парика, треугольной шляпы, большой трости с золотым набалдашником и других принадлежностей я превратился в одного из тех добродушных шестидесятилетних буржуа, которых все старые девы находят хорошо сохранившимися; у меня был точь-в-точь вид и одеяние одного из богачей улицы Марэ, с румяным, добродушным лицом, на котором написано довольство и желание осчастливить какую-нибудь несчастную, чающую движения воды. Я был уверен, что придусь как раз по вкусу всем горбуньям на свете, к тому же я был так похож на доброго, честного человека, что не мог возбудить никаких сомнений.

Переодетый таким образом, я стал рыскать по улицам, задрав голову кверху, зорко отыскивая занавеси означенного цвета. Я так занялся своими наблюдениями, что не видел и не слышал ничего, что делалось вокруг. Если бы я не имел такого почтенного вида, то меня могли бы принять за метафизика или, может быть, за поэта, который ищет рифмы в области крыш и печных труб; двадцать раз я подвергался опасности быть раздавленным кабриолетами; со всех сторон я только и слышал: берегись, берегись! — и, обернувшись, видел, что или нахожусь под самым колесом, или держу в объятиях какого-нибудь коня. Часто, обтирая пену, которою был покрыт мой рукав, мне случалось получать в лицо удар хлыстом, а когда кучер был менее груб, то мне приходилось выслушивать любезности вроде: «береги же свою шкуру, старый глухарь»; не раз называли даже «старым ротозеем».

Поиски за желтыми занавесями продолжались несколько дней: в моей записной книжечке было записано до 150 экземпляров; надеюсь, не было недостатка в выборе. Но кто мог

мне поручиться, что я трудился не понапрасну и не просто занимался водотолчением? Не могло разве случиться, что занавеси, за которыми скрывался Фоссар, отправлены к выводчику пятен или заменены занавесями красными, зелеными, белыми? Но что же делать? Если судьба может противодействовать мне, то, наоборот, она может и благоприятствовать моим поискам. Я снова запасся мужеством, и хотя шестидесятилетнему старцу и не совсем легко было совершать восхождения по ста пятидесяти лестницам, путешествовать мимо семисот этажей, пересчитывать до тридцати тысяч ступенек, т. е. приблизительно вдвое против высоты Чимборасо, — но так как у меня были сильные ноги и здоровые легкие, то я предпринял эту задачу, поддерживаемый надеждой, вроде той, которая одушевляла аргонавтов в их поисках за золотым руном, и усердно отыскивал свою горбунью; на скольких площадках я караулил по целым часам, в надежде, что моя счастливая звезда наконец появится на горизонте! Герой Дон-Кихот, наверное, не так усердно отыскивал свою Дульцинею; я стучался в дверь каждой швейки, я рассматривал их всех одну за другой; ни одной горбатой — все сложены как на диво; или если случайно у них и был горб, то это вовсе не искривление позвоночного столба, но полнота, плод ошибки молодости, которая исчезает без помощи ортопедии.

Прошло несколько дней, а я не встречал и тени своего предмета; я вел каторжную жизнь; всякий вечер я приходил домой разбитый, утомленный донельзя. Всякое утро приходилось начинать сначала. Еще если бы я смел делать вопросы, то, может быть, какая-нибудь сердобольная душа навела бы меня на путь истинный, но я боялся обжечься на огне. Наконец, утомленный этими проделками, я принялся за другое средство.

Я заметил вообще, что все горбатые болтливы и любопытны, почти всегда они первые сплетницы в квартале: ничто

не ускользает от их внимания. Исходя от этой точки, я заключил, что моя незнакомка, желая запастись сплетнями, не пренебрегает ни булочниками, ни молочницами, ни овощником, ни бакалейщиком. Поэтому я решился заручиться содействием этих органов сплетен и злоречивых толков. Я знал, что всякая горбунья, отыскивая себе мужа, обыкновенно щеголяет своими достоинствами хорошей хозяйки, и сообразил, что она, вероятно, встает рано. Чтобы застать ее на театре моих наблюдений, я также встал с петухами и отправился в путь.

Прежде всего мне нужно было ориентироваться: какой молочнице отдает предпочтение моя горбатая? Без сомнения той, которая отличается большей словоохотливостью и у которой больше покупщиков. Я заметил одну такую — на углу улицы Тевено, она соединяла в себе оба эти условия. Окруженная крынками с молоком и целой толпой слушателей, она безостановочно болтала, подавая кому что надо; покупщиков было у нее вдоволь. Я сейчас же сообразил, что напал на место свидания, где можно было видеть чуть ли не целый квартал, и решился не терять его из виду.

Наступил второй день моих наблюдений у молочницы. С самого рассвета я занял свой пост и с нетерпением, как и накануне, ожидал появления какого-нибудь Эзопа в юбке; приходили все только молодые девушки, горничные и гризетки, стройные, высокие, с тонкими талиями и прелестными плечами; все они как на подбор были прямы, как пальмы. Я уже пришел в отчаяние… как вдруг на горизонте показалась моя звезда. Это была прелестная, горбатая Венера. Боже! Как она была мила! и как выдающаяся часть ее фигуры была соблазнительна; я не мог налюбоваться на эту возвышенность, которую натуралистам следовало бы принять в соображении для новой расы человеческой породы; мне казалось, что я вижу одну из средневековых фей, для которых безобразие составляло лишь украшение. Сверхъестественное существо приблизилось к молочнице и, поговорив с ней немного, взяло

свою порцию сливок. Потом девушка отправилась в бакалейную лавку, на минуту остановилась у торговки требухой, у которой набрала провизии для своей кошки; наконец, окончив свои закупки, отправилась по улице Пети-Каро и вошла в дом, где внизу находился магазин краснодеревщика. Я поднял глаза на окна, но желтых занавесей, по которым я вздыхал, не было и следов. Сообразив, что занавеси какого бы то ни было цвета предмет гораздо легче сместимый, нежели горб, я решился не уходить, не поговорив сначала с маленьким чудом, которому я так обрадовался. Несмотря на свое разочарование, я предчувствовал, что разговор этот принесет мне существенную пользу и наведет меня на путь истинный.

Я решился подняться по лестнице; добравшись до антресолей, я спросил, на котором этаже живет маленькая особа, немного горбатая.

— Вы о швее, что ли, спрашиваете? — ответили мне, смеясь в лицо.

— Ну да, о швее, у которой правая лопатка не совсем в порядке. — Посмеялись опять и указали мне третий этаж на улицу. Хотя соседи были очень обязательны, но я почти расположен был рассердиться на их насмешливую веселость — это было по меньшей мере невежливо. Но мое терпение было неистощимо, и я охотно простил им, что они нашли меня несколько смешным, и к тому же разве я не изображал простодушного добряка? Поэтому я должен был не оставлять своей роли. Я постучался в указанную дверь, и мне отворила сама горбунья. После обычных извинений, что пришел не вовремя и мог обеспокоить хозяйку, я попросил ее пожертвовать мне минуткой времени, прибавив, что желаю поговорить с ней о чисто личном деле.

— Мадемуазель, — сказал я несколько торжественным тоном, усевшись на стул против нее, — вам неизвестна причина, которая привела меня к вам, но когда вы узнаете ее, то, может быть, почувствуете некоторую симпатию ко мне.

Горбатая воображала, что я намерен объясниться ей в любви; яркая краска разлилась по ее щекам, глаза заблестели, хотя она старалась опустить их в землю. Я продолжал:

— Без сомнения вы удивитесь, что в мои годы можно быть влюбленным, как в двадцать лет.

— О, помилуйте, мосье, вы прекрасно сохранились! — заметила милая девушка; я не имел сил долее оставлять ее в заблуждении.

— Слава Богу, я могу похвалиться здоровьем, — продолжал я, — но не в этом дело. Вы знаете, я думаю, что в Париже нередко встретить мужчину и девушку, живущими вместе вне брака.

— За кого вы меня принимаете, милостивый государь, делая мне подобное предложение? — воскликнула горбатая, не дождавшись окончания моей фразы.

— Я совсем не делаю вам никаких предложений, — возразил я, — только хотел бы попросить вас, чтобы вы были так добры и доставили мне некоторые сведения о молодой даме, живущей, как мне сказали, в этом доме с одним господином, которого выдает за своего мужа.

— Я таких не знаю, — сухо ответила горбатая. Тогда я дал ей подробное описание Фоссара и его любовницы, девицы Тонно.

— А, знаю теперь: это человек приблизительно вашего роста и сложения, ему, должно быть, лет тридцать; он красивый мужчина; дама молода, пикантная брюнетка, великолепные зубы, красивые глаза, рот большой, маленькие усики на верхней губе, вздернутый нос и ко всему этому кроткий смиренный вид. Они действительно жили в этом доме, только теперь недавно переехали.

Я попросил ее дать мне новый их адрес. Она сказала, что не знает его.

Я со слезами умолял ее помочь мне отыскать несчастное существо, которое я страстно любил, несмотря на ее неверность и коварство.

Швея была тронута слезами, которые я проливал; я видел, что у нее самой навертываются слезы, и поспешил воспользоваться этим чувствительным настроением.

— Ее неверность губит меня; Бога ради, сжальтесь над несчастным мужем, не скрывайте от меня их убежища, я буду вам обязан жизнью.

Горбатые обыкновенно сострадательны, к тому же в их глазах всякий муж — неоцененное сокровище, и пока они но обладают им, они но могут понять, как можно быть неверной. Моя швея также имела отвращение к прелюбодеянию; она искренно пожалела меня и уверила, что очень желала бы быть мне полезной.

— К несчастью, — прибавила она, — они отыскали новую квартиру через посредство комиссионеров, незнакомых в квартале, и я положительно не знаю, где они находятся и что с ними сталось. Но если бы вы повидали хозяина дома…

Я видел, что в искренности этой женщины нельзя сомневаться, и я отправился к хозяину дома; тот мог мне сообщить только то, что ему заплатили до срока и что дело не доходило до расспросов и объяснений.

Таким образом, помимо уверенности в том, что мне удалось узнать прежнюю квартиру Фоссара, я не подвинулся ни на шаг вперед. Тем не менее я не оставил дела и деятельно продолжал его. Обыкновенно все комиссионеры различных кварталов знают друг друга; я расспросил комиссионеров улицы Пети-Каро, перед которыми разыграл роль обманутого мужа; один из них указал мне своего собрата, который помогал перевозить имущество моего соперника на другую квартиру.

Я повидался с указанным им человеком и рассказал ему свою мнимую историю; он терпеливо выслушал меня. Это был человек, по-видимому, хитрый и корыстолюбивый. Я догадался, в чем дело, и в награду за его обещание указать мне завтра новую квартиру Фоссара, предложил ему две пя-

тифранковые монеты. Первое наше свидание происходило 27 декабря, на третий день Рождества. Мы должны были увидеться снова на другой день, 28-го. Чтобы приготовить сюрприз к 1 января, надо было поторопиться. Я, конечно, не опоздал на назначенное свидание: комиссионер, за которым я велел следить, также явился вовремя. Пришлось пожертвовать еще несколькими пятифранковыми монетами и сверх того угостить его завтраком. Наконец он решился отправиться в путь и привел меня к очень хорошенькому домику на углу улицы Дюфо и Сент-Оноре.

— Вот тут они живут, — сказал он, — пойдем спросим у виноторговца, уж не переехали ли они.

Он желал, чтобы я угостил его еще раз; я догадался и на этот раз и осушил с ним бутылку вина. Расставшись, я был убежден, что нашел, наконец, убежище моей неверной супруги. Мне больше не было никакой надобности в моем гиде; я распростился с ним, отблагодарив его как следует, а чтобы увериться, что он не изменит мне, из желания получить награду с обеих сторон, я велел агентам наблюдать за ним и в особенности не пускать его более к виноторговцу. Насколько мне помнится, его удалили со сцены довольно коварным образом; не скрою того, что это было дело моих рук.

— Вот что, любезный, — сказал я ему, — я передал полиции билет в пятьсот франков, предназначенный тому, кто поможет мне отыскать жену. Вам по справедливости принадлежит эта сумма, поэтому-то я дам вам записочку, при помощи которой вы можете получить ее.

Действительно, я вручил ему записку к г-ну Анри.

— Отведите этого господина в кассу, — распорядился Анри, обращаясь к одному из канцелярских прислужников. — А касса оказалась не что иное, как кутузка, где господин комиссионер мог на досуге опомниться от своей радости.

Между тем я еще не вполне убедился, что мне указали именно жилище Фоссара. Я, однако, довел до сведения

начальства об всем, что произошло, и мне немедленно вручили полномочия для заарестования. Тогда зажиточный буржуа из улицы Марэ превратился вдруг в угольщика и в этом-то одеянии, в котором меня не могли узнать ни мать, ни чиновники префектуры, коротко знавшие меня, я занялся изучением почвы, на которой мне приходилось маневрировать. Друзья Фоссара, т. е. его доносчики, предупредили агентов, которым поручено было арестовать его, что он никогда не расстается с кинжалом и двумя пистолетами, из коих один постоянно держит в руке завернутым в носовой платок. Понятно, что нам приходилось держать ухо востро; кроме того, зная характер Фоссара, мы были убеждены, что он не задумается совершить убийство, чтобы избавиться от приговора, который был для него хуже смерти. Мне, конечно, хотелось устроить так, чтобы не пасть его жертвой. Подумав хорошенько, я сообразил, что можно отчасти устранить опасности, согласившись предварительно с виноторговцем, у которого Фоссар нанимал квартиру. Это был хороший, честный, человек, но полиция пользуется такой дурной славой, что не всегда легко убедить честных людей оказать ей содействие. Я решился заручиться его помощью, связав его же собственным интересом. Я уже бывал у него раза два в двух отдельных комнатах и имел случай изучать местность и персонал, заседающий в лавке; я вернулся туда еще раз в обыкновенном платье и заявил моему буржуа, что желаю переговорить с ним наедине. Я заперся в отдельной комнате и, оставшись с ним с глазу на глаз, сказал ему:

— От имени полиции мне поручено объявить вам, что вас готовятся обокрасть; воры уже все устроили, и главный зачинщик живет в вашем доме; женщина, которая с ним в связи, часто приходит к вам вниз, садится у конторки и разговаривает с вашей супругой. Таким путем ей удалось достать слепок ключа от двери, в которую они предполагают забраться к вам. Все предусмотрено; пружина колокольчика,

с помощью которого вас могли бы предупредить, будет отрезана ножницами, пока дверь будет еще полуотворена. Раз забравшись в дом, они быстро направятся в вашу комнату, и заметьте, вы имеете дело с отъявленными мошенниками, которые не задумаются посягнуть на вашу жизнь, если будут иметь основание опасаться вашего пробуждения.

— Понимаю, нас укокошат! — в испуге воскликнул виноторговец. Он тотчас же позвал свою жену и сообщил ей новость.

— Вот видишь ли, друг мой, можно ли после этого доверяться кому бы то ни было! Эта мадам Газар казалась уж такой святошей, такой тихоней, а теперь не она ли собирается перерезать нам горло? В эту ночь воры придут нас резать?

— Нет, нет, успокойтесь и спите с Богом, в эту ночь не произойдет ничего — выручка слишком мала, хотят переждать праздники. Но если вы согласитесь быть скромными и помочь мне, то все уладится как нельзя лучше.

Мадам Газар была не кто иной, как девица Тонно, принявшая это имя, под которым Фоссар был известен в доме. Я посоветовал виноторговцу и его жене принять своих жильцов с таким же радушием, как и прежде. Конечно, они от души согласились помочь мне. Между нами было условлено, что я спрячусь в маленьком чулане под лестницей, чтобы удобнее наблюдать за Фоссаром и, выждав случая, схватить его.

29 декабря, рано утром, я устроился в своей обсерватории. Холод был страшный, сидеть пришлось долго, и для нас это было тем более чувствительно, что огня у нас не было. Я сидел неподвижно, приложив глаз к скважине, проделанной в ставне; судите, было ли мне удобно. Наконец, около трех часов он вышел; я пошел за ним следом. Это был он, — в этом не могло быть сомнения. Уверенный в его личности, я хотел тотчас же арестовать его, но сопровождавший меня агент стал останавливать меня, говоря, что заметил у Фоссара пистолет. Чтобы проверить его слова, я ускорил шаги

и нагнал Фоссара. К несчастью, я убедился, что агент не ошибся. Попытаться арестовать Фоссара — было бы рисковать своей жизнью, может быть, понапрасну. Поэтому я решился отложить решительный удар и, вспомнив, что две недели тому назад я обязался представить Фоссара к 1 января, почти обрадовался этой отсрочке.

31 декабря, в одиннадцать часов вечера, в то время, когда все мои батареи были расставлены, Фоссар вернулся домой. Он не подозревал ничего, шел по лестнице, беззаботно напевая веселый мотив. Двадцать минут спустя все огни у него были потушены, из чего я заключил, что он лег спать. Наступила благоприятная минута. Комиссар и жандармы, предупрежденные мной, стояли неподалеку, ожидая, чтобы я позвал их. Они вошли беззвучно и тотчас же началось совещание, как бы лучше овладеть Фоссаром, не подвергаясь опасности быть убитым или раненым, так как все твердо были убеждены, что разбойник будет защищаться отчаянно.

Первая моя мысль была — не предпринимать ничего до рассвета. Меня уведомили, что любовница Фоссара сходит вниз рано утром за молоком. Тогда можно было бы овладеть этой женщиной и с помощью ее ключа войти врасплох в комнату ее возлюбленного. Но разве не могло случиться, что он выйдет первым, вопреки своему обыкновению? Это соображение навело меня на другую мысль.

Жена виноторговца, с которой, как я узнал, г-жа Газар была всегда чрезвычайно любезна, имела при себе маленького племянника. Этот десятилетний ребенок, смышленый и умный не по летам, имел уже страсть к деньгам, что объясняется отчасти его нормандским происхождением. Я обещал ему награду, с условием, чтобы он, под предлогом нездоровья своей тетушки, отправился к мадам Газар попросить у нее немного одеколона. Я научил мальчугана принять плаксивый тон, приличествующий в подобных случаях, и, выдрессировав его как следует, стал распределять роли. Развязка при-

ближалась; я велел всем своим людям разуться, сам сделал то же самое, чтобы не слышно было наших шагов на лестнице. Мальчуган был в одной рубашке; он позвонил — ответа нет. Второй звонок.

— Кто там? — слышится голос из-за двери.

— Это я, мадам Газар, это я, Луи. Моей тетушке сделалось дурно, одолжите, пожалуйста, одеколону: она умирает. Свеча у меня есть!

Дверь отворилась, но едва успела показаться девица Тонно, как два сильных жандарма схватили ее и сунули в рот платок, чтобы она не могла кричать. В то же самое время быстрее молнии я бросился на Фоссара, пораженного и неподвижного, как истукан. В одну минуту я связал его в постели; прежде нежели он успел сделать движение, произнести одно слово — он был уже моим пленником. Удивление его было так велико, что в продолжении целого часа он был не в состоянии произнести ни слова. Когда принесли свечу и он увидел наши черные лица, а меня одетого угольщиком, на него нашел какой-то панический ужас — он вообразил, что имеет дело с нечистой силой. Придя в себя, он подумал о своем оружии — кинжале и пистолетах, лежавших на ночном столике. Взгляд его остановился на них, он сделал только судорожное движение и более не тронулся; в своем полном бессилии он решился покориться и только сердито поводил глазами.

Произвели обыск в квартире этого разбойника, пользовавшегося такой ужасной славой, и отыскали значительное количество золотых вещей, драгоценностей и бриллиантов на сумму от восьми до десяти тысяч франков. Пока делали домашний обыск, Фоссар, очнувшись от своего столбняка, открыл мне, что под мраморной доской камина есть еще десять билетов, по тысяче франков каждый: «Возьми их, — сказал он, — потом разделим, или, вернее, ты возьмешь себе сколько хочешь». Я отыскал билеты по его указанию. Сели

на извозчика и отправились в канцелярию г-на Анри, где были сложены все вещи, найденные у Фоссара. Их переписали и, дойдя до последнего предмета, комиссар, сопровождавший меня для пущей правильности экспедиции, объявил, что инвентарь тем и закончен.

— Погодите одну минуту, — воскликнул я, — вот еще десять тысяч франков, которые мне отдал обвиняемый. — И я вручил им сумму, к великому сожалению Фоссара, бросившего на меня взгляд, в котором я ясно прочел: вот штука, которую я ввек не прощу тебе.

Фоссар смолоду дебютировал на поприще преступлений. Он принадлежал к уважаемому семейству и получил даже довольно хорошее воспитание. Его родители всеми силами старались заглушить в нем преступные наклонности; несмотря на их советы, он по горло погряз в дурном обществе. Он начал свою карьеру, воруя малоценные предметы, но войдя во вкус этого опасного ремесла и стыдясь, вероятно, попасть в категорию мелких воришек, он сделался, как говорят они, вором высшей школы. Известный Виктор Дебуа и Ноель, которые до сих пор живут в преданиях галер, как лучшие их украшения, — были его союзниками и помощниками; они вместе совершали кражи, послужившие причиной их осуждения на пожизненную каторгу. Ноель, который в качестве учителя музыки имел доступ в богатые и знатные дома, брал там слепки с замков, а Фоссару потом поручал подделывать ключи. В этом искусстве они могли соперничать с самыми гениальными слесарями-механиками земного шара. Не было препятствий, которых они не могли бы победить; самые сложные замки, самые замысловатые секреты недолго сопротивлялись им.

Понятно, какую выгоду мог извлечь из этого пагубного искусства человек, который, кроме того, обладал в высшей степени способностью втираться в общество честных людей и одурачивать их. Прибавьте к этому скрытный, холодный

темперамент, мужество и терпение. Его товарищи смотрели на него, как на царя воров, и действительно из воров высшей школы и аристократии мазуриков двое только могли с ним сравниться: Коньяр, граф Сент-Элен, и Жозасс, о котором я упоминал в первом томе своих записок.

С тех пор, как Фоссар, по моей милости, был отправлен в галеры, он не раз пытался бежать. Освобожденные галерники, недавно видевшие его, уверяют, что он стремился к свободе единственно с целью отомстить мне. Он дал обет погубить меня. Если бы выполнение этого обещания зависело от него, то я уверен, что он сдержал бы слово, хотя бы для того, чтобы доказать свою отвагу. Я расскажу два случая, которые могут дать понятие об этом человеке.

Однажды Фоссар приготовился совершить покражу из квартиры во втором этаже. Его товарищи, сторожившие на улице, имели неловкость пропустить по лестнице хозяина дома, которого они, должно быть, не узнали. Хозяин отпирает дверь своим ключом, проходит по нескольким комнатам и доходит до кабинета, где застает вора на месте преступления. Он бросается, чтобы схватить его, но Фоссар защищается и убегает. Перед ним отворенное окно: он прыгает в него, падает на улицу, не повредив себе членов, и, выскочив, исчезает с быстротою молнии.

В другой раз он собрался бежать из острога, но его настигают на крыше Бисетра; по нем дают несколько ружейных выстрелов. Фоссар, которого ничто не смущает, продолжает идти спокойно, не торопясь и не замедляя шагов, и, дойдя по крышам до поля, спускается вниз. Ему грозила опасность тысячу раз сломать себе шею, но с ним ничего не сделалось, ни малейшей контузии, только сотрясение было так сильно, что все швы его платья лопнули.

Глава двадцать девятая

Погром в Куртиле. — Убеждаются, что я сыщик. — Несколько слов о бригаде общественной безопасности. — 772 ареста. — Обращение великого грешника. — Биография Коко-Лакура. — Г. Делаво и Тру-мадам. — Утверждение грамоты о помиловании меня. — Взгляд на продолжение этих записок

Во время ареста Фоссара бригада общественной безопасности уже существовала, и с 1812 года, т. е. со времени ее учреждения, я уже не был более тайным агентом. Имя Видока приобрело популярность, и многие лица применяли его вовсе не ко мне. Первая экспедиция, которая прославила меня перед всеми, была направлена против опасных сборищ Куртиля. Однажды г-н Анри выразил желание произвести облаву у Дюнойе, т. е. в кабаке, более всего посещаемом буянами, бродягами и мошенниками всевозможного сорта. Иврие, один из полицейских офицеров, присутствующих при разговоре, заметил, что для выполнения этого плана понадобится целый батальон.

— Батальон, — воскликнул я, — отчего уж не целая армия? Что до меня касается, — продолжал я, — то пусть дадут мне восемь человек, и я отвечаю за успех.

Г. Иврие, как известно, был человек раздражительный; он покраснел от досады и заметил, что я больше ничего, как пустозвон.

Как бы то ни было, я поддержал свое предложение, в мне было отдано приказание действовать. Крестовый поход, который я должен был предпринять, был направлен против воров, беглых преступников и многих дезертиров из колониальных батальонов. Захватив с собою целый запас ручных оков, я отправился в путь с двумя помощниками и восемью жандармами. Прибыв к Дюнойе в сопровождении своих спутников, я вошел в зал и подал музыкантам знак умолкнуть, они повиновались. Но вдруг послышался глухой ропот

и сдержанное восклицание: вон его! долой его! Терять времени не приходилось — надо было осилить зачинщиков и крикунов, прежде нежели они успеют разгорячиться и перейти к действию. Я предъявляю свое полномочие и во имя закона прошу всех выйти, за исключением женщин. Компания не так-то легко повиновалась моему приказанию; впрочем, через несколько минут самые буйные покорились и все потянулись к выходу. Я встал у двери и, узнавая между выходившими тех, кого мы искали, намечал на их спинах крест мелом — это был для жандармов условный знак, чтобы арестовать их. Таким образом было схвачено тридцать два мошенника; их отвели предварительно в участок, а потом в полицейскую префектуру.

Смелость этой проделки наделала много шуму среди народа, посещающего увеселительные заведения за заставой. Скоро всем плутам и подозрительным людям стало известным, что есть на свете сыщик по имени Видок. Самые отчаянные из них дали обещание укокошить меня при первой встрече. Некоторые из них пытались было сделать это, но были отражаемы с потерями, а понесенные ими неудачи до такой степени упрочили за мной славу, что она отчасти отразилась на всех членах моей бригады. Между ними не было ни одного, который не прослыл бы за Алкида; часто забывая, о ком идет речь, я содрогался, когда простолюдины, не зная меня совершенно, говорили обо мне в моем присутствии или присутствии моих агентов. Все мы были какие-то колоссы; горный дух и леший менее страшили народ, сеиды уступали нам в преданности своему делу. Мы ломали беспощадно руки и ноги — ничто не могло устоять перед нами — мы были вездесущи. Предполагали даже, что я неуязвим и покрыт броней с ног до головы. Организация бригады последовала вскоре после экспедиции в Куртиль. У меня сначала было четыре агента, потом шесть, десять и, наконец, двенадцать. В 1817 году у меня было их столько же, а между тем с этой горстью людей я

совершил от 1 января до 31 декабря семьсот семьдесят два ареста и тридцать девять обысков с захватом украденных вещей.

Как только ворам стало известно, что я буду возведен в должность главного агента охранительной полиции, они сочли себя погибшими. Более всего их беспокоило то, что я был окружен людьми, жившими и работавшими вместе с ними в течение многих лет и потому знавшими их наперечет.

Число арестов, сделанных мною в 1813 году, не было так велико, как в 1817-м, но этого было достаточно, чтобы поселить в них тревогу. В 1814-м и 1815 годах в столицу прибыл целый рой парижских воров, выпущенных с английских понтонов, где они находились в плену; по возвращении они не замедлили снова взяться за свое ремесло. Эти люди никогда не видели меня, я их также не знал, и они надеялись легко ускользнуть от моей наблюдательности. Поэтому их дебют отличался редкой отвагой и дерзостью. В одну лишь ночь в фобурге Сен-Жермен состоялось десять покраж со взломом. В течение целых шести недель только и слышно было о подвигах подобного рода. Г-н Анри был в отчаянии, не находя никакого средства для ослабления грабежа; он постоянно был настороже и все-таки ничего не мог открыть. Наконец, после многих бессонных ночей, бывший вор, которого я заарестовал, дал мне несколько указаний, и месяца в два мне удалось предоставить в руки правосудия шайку в двадцать два мазурика, другую шайку в двадцать восемь человек, третью в восемнадцать и много других, не считая самостоятельных мошенников, а также довольно значительное число укрывателей ворованных вещей, и все они были отправлены в галеры по моей милости. В это время мне дано было дозволение завербовать в свою бригаду четырех новых агентов из воров, которые имели удовольствие знать вновь прибывших до их отъезда.

Трое из этих ветеранов — Горо, Флорентен и Коко-Лакур, — уже давно находившиеся в заключении в Бисетре,

настойчиво просили, чтобы им позволили заняться при полиции; они клялись, что исправились окончательно и обещали жить впредь честными людьми заработком рук своих, т. е. жалованьем, которое им доставит полиция. Они сызмальства вступили на путь преступления; я думал, что если бы они действительно решились изменить свое поведение, то никто не был бы в состоянии принести такую громадную пользу. Поэтому я поддержал их просьбу, и хотя мне возражали, что это закоренелые преступники-рецидивисты, но мне удалось настойчивыми просьбами и ходатайствами, мотивированными пользой, которую можно извлечь из их услуг, достигнуть наконец, чтобы их освободили. Коко-Лакур, против которого были в особенности сильно предубеждены, так как он, в бытность свою тайным агентом, говорят, похитил серебро у главного инспектора Вейра, — Коко-Лакур был единственным из трех, который не заставил меня раскаяться в том, что я некоторым образом поручился за него. Двух других я принужден был скоро удалить; потом я узнал, что они снова попались в Бордо в каком-то скверном деле. Что касается Коко, то я был уверен, что он сдержит слово, и не ошибся. Он был малый чрезвычайно смышленый, получивший некоторое образование, поэтому я отличил его перед другими и сделал своим секретарем. Позднее, вследствие какого-то выговора или замечания с моей стороны, он подал в отставку вместе с двумя своими товарищами — Декостаром, прозванным Прокурором, и неким Кретьеном. В настоящее время Коко-Лакур — начальник охранительной полиции; в ожидании его записок, может быть, небезынтересно будет рассказать, через какие мытарства он прошел прежде, нежели достиг поста, который я так долго занимал. В его жизни много есть эпизодов, говорящих в пользу снисхождения, и его радикальное исправление служит доказательством того, что нельзя отчаиваться в раскаянии самого испорченного, развращенного человека. Я сделаю очерк истории моего преемника

на основании подлинных документов. Вот, во-первых, какие следы он оставил по себе в префектуре полиции. Открываю реестры и читаю:

«Лакур, Мари-Бартелеми, одиннадцати лет, живет в улице Лицея, внесенный в тюремную роспись 9 вантоза, IX года, за покушение на воровство; одиннадцать дней спустя приговорен исправительным судом на один месяц тюремного заключения.

Тот же, арестованный 2 прериаля того же года и снова препровожденный в Форс, по обвинению в краже кружев из одной лавки. Выпущен в тот же день по распоряжению полиции 2-го округа.

Тот же, заключен в Бисетре 23 термидора, Х-го года, по распоряжению г-на префекта; освобожден 28 плювиоза XI года и отведен в префектуру.

Тот же, вступил в Бисетр 6 жерминаля XI года по распоряжению префекта; передан в жандармское управление 22 флореаля для препровождения в Гавр.

Тот же, 17 лет, известный вор, уже не раз схваченный на месте преступления; поступил в июле 1807 года волонтером в колониальные войска; 31 числа того же месяца передан в жандармское управление для препровождения по назначению. Бежал с острова Рео в том же месяце.

Тот же, прозванный Коко (Бартелеми) или Луи-Бартелеми, двадцати одного года; родился в Париже, был подмастерьем у золотых дел мастера; живет в фобурге Сент-Антуан, № 297. Препровожден в Форс 1 декабря 1809 года по обвинению в воровстве. Приговорен к тюремному заключению исправительным судом 18 января 1810 года и затем препровожден в морское министерство в качестве дезертира.

Тот же, заключен в Бисетре 22 января 1812 года как неисправимый вор. Отведен в префектуру 3 июля 1816 года».

Молодость Лакура могла служить печальным примером опасности, заключающейся в дурном воспитании. Я знаю

о нем только то, что со времени своего освобождения он доказал, что природа вполне одарила его счастливым темпераментом. К несчастью, родители его были бедны; отец его — портной и вместе с тем исполнявший должность дворника в улице Лицея, не слишком-то много заботился о нем в первые годы его жизни, от которых часто зависит вся дальнейшая судьба человека. Коко остался сиротой в раннем возрасте. Достоверно то, что он вырос, так сказать, на руках своих соседок — модисток и женщин легких нравов. Они находили его миленьким, пичкали сладостями, осыпали ласками и в то же время прививали ему лукавство и притворство. Эти женщины окружили попечениями его детский возраст; они постоянно держали его при себе. Это была их игрушка, их развлечение, а когда им было не до него и они заняты были другим, то маленький Коко играл на улице с шалунами и уличными мальчишками, испорченными до мозга костей. Воспитанный развратными женщинами, выросший среди мошенников, понятно какого рода успехи он должен был оказать. Путь, по которому он шел, был усеян терниями. Женщина, которая считала себя призванной навести его на путь истинный, приютила его у себя: это была известная Марешаль, содержательница дома терпимости на Итальянской площади. Коко там откармливали на убой и его любезность и общительность были единственными качествами, которое его хозяйка старалась развить в нем. Он действительно стал любезным донельзя. Он всегда был готов к услугам всех и каждого, приспособляясь ко всем требованиям заведения. Между тем у молодого Лакура были свои свободные дни и часы для выхода, он сумел воспользоваться ими, так как уже на двенадцатом году подался как ловкий воришка кружев из магазинов, а попозже его последовательные аресты дали ему видное место среди так называемых «лазящих рыцарей». Четырех- или пятилетнее пребывание в Бисетре, где он был заключен административным порядком как опасный и

неисправимый вор, не исправило его; но там, по крайней мере, он выучился шапочному ремеслу и получил первоначальное образование. Вкрадчивый, гибкий, одаренный певучим голосом и женственным лицом, которое, однако, не было красиво, — Лакур понравился некоему Мюльнеру, приговоренному к каторге на шестнадцать лет, но которому дали дозволение высидеть в Бисетре срок своего наказания. Этот арестант, брат одного антверпенского банкира, был человек не лишенный образования. В виде развлеченья он сделал Лакура своим учеником и так горячо принялся за дело, что молодой арестант скоро научился правильно говорить и писать на своем языке. Приятная наружность Коко сослужила ему немало служб; в течение всего срока заключения одна девушка, прозванная «Элизой-немкой», страстно влюбленная в него, не переставала оказывать ему помощь и окружать попечениями; она буквально спасла ему жизнь и за все это видела от него одну черную неблагодарность.

Лакур был человек малорослый, не выше пяти футов двух дюймов, белокурый, с лысой головой, узким лбом, голубыми, тусклыми глазами и утомленным лицом. Кончик его носа был слегка красен — это единственная часть его лица, на которую не распространилась бледность. Он до страсти любил роскошь, нарядную одежду и драгоценные украшения, на нем обыкновенно навешена была целая коллекция цепочек и брелоков. В своей речи он любил употреблять кстати и некстати изысканные, утонченные выражения. Трудно встретить человека более вежливого и обязательного, но с первого взгляда можно убедиться, что это вовсе не манеры, принятые в хорошем обществе: это были традиции большого света в том виде, как они могли проникнуть в тюрьмы и другие места, посещаемые Лакуром. Он обладал замечательной гибкостью спинного хребта, помогавшею ему удерживаться на своих должностях, и, кроме того, был лицемерен и хитер до мозга костей, как второй Тартюф.

Лакур, сделавшись моим секретарем, не мог сообразить, что для соблюдения приличий его подруга, бывшая попеременно то торговкой фруктами, то прачкой, с тех пор как перестала заниматься другим ремеслом, — не худо сделала бы, избрав более подходящее занятие. По этому поводу между нами возник оживленный спор, и Лакур, не желая уступить мне, предпочел подать в отставку. Он сделался мелким разносчиком и продавал платки на улице. Но, как гласит хроника, он скоро предался конгрегации и стал под знамена иезуитов. С этих пор он попал в милость гг. Дюплесси и Делаво. Набожность Лакура придала ему особенное значение в их глазах. Я могу засвидетельствовать один интересный факт. Во время его женитьбы его духовник наложил на него строгую епитимию, которую он выполнил до конца с редкой добросовестностью. В течение целого месяца он вставал с рассветом и ходил босиком в церковь, единственное место, где ему еще было дозволено встречаться со своей женой, которая также выполняла епитимию.

После вступления в должность г-на Делаво набожность и святошество Лакура еще удвоились. Он жил в то время в улице Захарии, и хотя поблизости была другая приходская церковь, но он каждое воскресенье ходил к обедне в собор Нотр-Дам, где как бы случайно всегда становился на виду у семейства префекта. Конечно, можно только похвалить Лакура за такое полное раскаяние, но жалко, что он не спохватился лет двадцать тому назад.

Лакур отличался мягким нравом, и если бы ему не случалось от времени до времени напиваться пьяным, то можно было бы сказать, что единственная его слабость — это страсть к рыбной ловле. Он постоянно закидывал свою удочку неподалеку от Нового Моста; он посвящал целые часы этому молчаливому занятию. Около него обыкновенно сидела женщина и надевала приманку на крючок. Это была мадам Лакур, когдато искусная в приманках другого рода. Лакур предавался

этому невинному развлечению, когда к нему внезапно явились посланные г-на Делаво. Отыскав его под аркой Марион, они застигли его за удочкой, как когда-то уполномоченные римского сената застали Цинцинната за плугом. В жизни великих людей есть сходные черты, сближающие их. Может быть, госпожа Цинциннат в свое время также продавала платья женщинам известного сорта. В настоящее время этим занимается законная супруга Коко-Лакура; но однако довольно о моем преемнике, продолжаю историю охранительной бригады.

Наибольшее развитие и силу она приобрела в промежутке времени от 1823 до 1824 года; в то время число агентов, входящих в ее состав, по предложению г. Паризо, было доведено до двадцати и даже двадцати восьми человек, включая двух личностей, пользующихся доходами с игр, которые префект дозволил им содержать. С помощью этой небольшой горсти людей надо было наблюдать за тысячью с лишком освобожденных каторжников и арестантов, ежегодно производить от четырех до пяти сот арестов, по распоряжению префекта или судебной власти добывать сведения, предпринимать розыски и всевозможные уловки, делать ночные обходы, столь частые и столь трудные зимою; помогать полицейским комиссарам в их обысках и допросах, наблюдать за различными общественными сборищами, дежурить у входа в театры, на бульварах, заставах и в других местах, служащих сборными пунктами для мошенников. Какую деятельность должны были проявить эти двадцать семь человек, чтобы поспеть всюду на таком громадном пространстве, в столь разбросанные пункты! Мои агенты обладали способностью размножаться, разрываться на части; я постарался породить в них усердие и преданность и сам подавал им пример. Не было ни одного опасного случая, в котором я не рисковал бы собою, и если самые важные преступники были арестованы, благодаря моей заботливости, то я, не хвастаясь, могу сказать, что самые смелые были захвачены мною.

Состоя главным агентом охранительной полиции, я мог бы в качестве начальника замкнуться в бездействии в своем бюро в улице св. Анны, но, занятый своим делом непосредственнее, ближе и полезнее, я приходил в бюро только для того, чтобы отдавать распоряжения, принимать отчеты и выслушивать жалобы.

До самой моей отставки от должности охранительная полиция, по-моему, единственно необходимая, которая по-настоящему должна была бы поглощать большую часть капиталов бюджета, так как суммы эти назначены преимущественно для нее, охранительная полиция никогда не имела в своем распоряжении более тридцати человек и никогда не стоила более 50 000 франков в год, из коих мне было предназначено пять тысяч. Таковы были первоначально расходы на охранительную полицию. С таким небольшим персоналом и такими незначительными средствами мне удалось наблюдать за безопасностью в недрах столицы, насчитывающей до миллиона населения. Я уничтожил все злодейские шайки и ассоциации, помешал им возродиться снова, и в течение года после того, как я покинул службу при полиции, не образовалось новых, хотя воровство значительно усилилось против прежнего. Дело в том, что главные искусники были запрятаны в тюрьмы и галеры в то время, когда мне было поручено их преследовать и дано право наказывать их.

До меня иностранцы и провинциалы смотрели на Париж, как на какой-то вертеп, в котором постоянно надо быть настороже и где всякий вновь приезжий непременно будет жертвой своей неопытности. Но с тех пор, как я вступил в должность, не было ни одного департамента во Франции, где бы не было в течение года совершено большее число преступлений, и даже более ужасных, нежели в департаменте Сены. Нигде также не было совершено менее покушений, оставшихся безнаказанными. И действительно, с 1814 года постоянная бдительность национальной гвардии значительно

содействовала этим блестящим результатам. Нигде эта бдительность вооруженных граждан не была столь необходимой, более настоятельной; но согласитесь с тем, что в это время, когда распущенность нашего войска и частые дезертирства иностранных солдат достигли крайних пределов и наши города, а в особенности метрополия, были наводнены множеством мошенников, авантюристов и бродяг всех наций — естественно, что, помимо национальной гвардии, много работы оставалось на долю бригады для охранения безопасности. И действительно, мы трудились неутомимо и сделали много; говоря по справедливости, национальная гвардия заслужила полное уважение своими заслугами; признаюсь, что без нее трудно было бы восстановить безопасность в столице. Я всегда видел в них редкую смышленость, добрую волю и преданность общественному благу — качества, которых мне никогда не случалось встречать ни у солдат, ни у жандармов, усердие которых в большинстве случаев проявляется в грубости и насилиях, когда опасность минует. Я подготовил будущность настоящей охранительной полиции, и в ней не скоро забудутся оставленные мною предания и воспоминания. Но как бы ни было велико искусство моего преемника, до тех пор, пока Париж будет лишен гражданской стражи, — не удастся положить преграду злодеяниям мошенников; постепенно возникают новые поколения, так как нет никакой возможности наблюдать за ними во всякое время и во многих пунктах зараз. Начальник охранительной полиции не может быть вездесущим, и каждый из ее агентов не сторукий Бриарей.

Пробегая газетные столбцы, невольно поражаешься громадным количеством краж со взломом, совершающихся каждую ночь, а между тем газетам не было известно и одной десятой всех преступлений. Казалось, будто целая колония каторжников поселилась на берегах Сены. В самых населенных, самых многолюдных улицах торговцы не могли спокойно спать. Парижанин не решался покинуть своего дома для

увеселительной прогулки за город; только и разговоров было о дверях, отпертых поддельными ключами, о кражах со взломом, об ограбленных квартирах и т. д. А между тем было лето, время года наиболее благоприятное для этих несчастных. Что будет зимою, в суровую непогоду, когда прекратятся работы и многие останутся без куска хлеба. Вопреки уверениям некоторых королевских прокуроров, которые упорно игнорируют, что у них делается под носом, нищета порождает преступления, а нищета в дурно организованном социальном строе приносит такое зло, от которого всегда можно было бы уберечься, если человек трудолюбив. Моралисты старого времени, когда людей было не так много на свете, могли сказать, что одни лентяи подвергаются опасности умереть с голоду; теперь же все изменилось, и если поразмыслишь, то сейчас же убедишься, что не только не для всех найдется работа, но даже плата за известный труд недостаточна для удовлетворения самых насущных потребностей. Если обстоятельства тяжелые, если в торговле застой, если промышленность тщетно старается найти сбыт для своих произведений и если она разоряется по мере того, как производит, как помочь такому громадному злу? Конечно, гораздо лучше было бы помогать недостаточным, нежели думать о том, как вывести их из отчаяния. Но ввиду невозможности сделать нечто лучшее, на краю кризиса, не следует ли прежде всего упрочить гарантии общественной безопасности? А какая гарантия в подобном случае могущественнее постоянного присутствия гражданской гвардии, которая непрестанно наблюдает, действует под сенью законности и чести? Можно ли заменить такое великодушное учреждение полиции, растяжимые рамки которой могут изменяться по желанию? Разве придется употребить в дело легион агентов, которых можно отпустить, когда более не нуждаются в их услугах. Нельзя упускать из виду, что охранительная полиция до настоящего дня набиралась из тюрем и галер, считавшихся

высшей школой для сыщиков и полицейских шпионов, рассадников, откуда их удобнее всего набирать. Употребите таких людей в дело, а потом попробуйте спровадить их, после того, как они узнали приемы полиции. Они вернутся к прежнему своему ремеслу, но с большими шансами на успех. Мне самому пришлось убедиться на опыте в истине этого мнения. Нельзя сказать, чтобы члены моей бригады, — а она вся исключительно состояла из людей, судившихся за преступления, — сделались неспособными к честности, я могу упомянуть двух-трех, которым я не поколебался бы доверить большие суммы денег, не требуя расписки и даже не пересчитав деньги, но люди, исправившиеся таким радикальным образом, всегда очень редки, а это не значит, что среди них меньше честных людей, нежели в других классах общества, к которым считают лестным принадлежать. Я видел, как один из моих подчиненных пустил себе пулю в лоб, потому что имел несчастие проиграть порученную ему сумму в пятьсот франков. Часто ли встречаются подобные случаи в биржевом мире, а между тем!.. Но здесь не место пускаться в похвалы охранительной бригаде с точки зрения, не относящейся к ее должности. Я хочу только доказать неудобство иметь многочисленный персонал шпионов, а это неудобство происходит от упомянутой мною причины, не говоря уже о том, что это вредно для нравственности народа, так как он свыкается с мыслью, будто всякое преступление служит ступенью к обеспеченному состоянию и что полиция не что иное, как сборище галерных инвалидов. С организацией этой бригады и начинается главный интерес моих записок. Может быть, находят, что я слишком исключительно говорил о своих личных интересах, но мне хотелось показать, через какие мытарства я прошел, прежде чем сделался геркулесом, которому было суждено очистить страну от бичей, нарушающих ее спокойствие. Я достиг этого не в один день; я прошел через долгую карьеру многотрудного опыта. Я буду иметь случай

рассказать о своих трудах, об усилиях, которые я должен был употребить, об опасностях и препятствиях, которые преодолел, о хитростях и уловках, на которые пускался, чтобы добросовестно выполнить возложенную на меня миссию и превратить Париж в местопребывание безопасности. Я разоблачу деяния и приемы воров, признаки, по которым их можно узнать; опишу их нравы, привычки, язык и одеяние сообразно с их специальностями, так как воры имеют различные костюмы. Я предложу действительные меры, чтобы прекратить злодеяния и парализовать пагубное искусство этих «дельцов», искателей приключений, мнимых фабрикантов, маклеров и тому подобных, которые, невзирая на учреждение Сент-Пелажи, ежедневно отнимают у торгового люда целые миллионы. Я расскажу о всех уловках, с помощью которых мошенники надувают народ. Я распределю преступников по различным классам, начиная с убийц и кончая карманниками, сформирую их в категории более определенные и более целесообразные, нежели категории Ла-Бурдонэ, составленные в 1815 году, так как, по крайней мере, по ним можно будет с первого взгляда узнать подозрительных людей и подозрительные места; я выставлю перед глазами честного человека все ловушки, в которые он может попасть; я обнаружу криминалисту все лазейки, все выходы, с помощью которых виновным часто удается обмануть прозорливость судей.

Я выведу на свет Божий все пробелы и недостатки в нашей уголовной практике и нашей системе карательных мер, столь нелепой во многих отношениях. Я потребую пересмотра, изменений, поправок, и моя просьба будет уважена, так как правда, откуда бы она ни появилась, в конце концов всегда восторжествует. Я предложу важные улучшения в режиме тюрем и галер, и так как более, нежели кто-либо, принимаю к сердцу страдания моих товарищей по несчастью, осужденных или выпущенных на волю, то я приложу все свои старания, и, может быть, мне посчастливится представить

гуманному законодателю данные, по которым ему возможно будет несколько улучшить их горькую судьбу. В правдивых и ярких красках я опишу выдающиеся черты слоев общества еще чуждых цивилизации. Я с точностью воспроизведу физиономию этой касты отверженных париев и достигну того, чтобы почувствовали необходимость некоторых учреждений, способствующих исправлению и облагорожению нравов известной части населения; мне приходилось лично изучать эти условия, и я более чем кто-либо могу дать о них все точные сведения.

Я удовлетворю любопытству во многих отношениях; но это не единственная цель, которой я задался; необходимо, чтобы испорченность этих классов населения уменьшилась, чтобы покушения на чужую собственность случались реже, чтобы проституция перестала являться неминуемым последствием известных неблагоприятных условий жизни, и чтобы разврат, до того постыдный, что виновные поставлены даже вне закона, наконец совсем исчез или, по крайней мере, перестал служить соблазном своей дерзкой наглостью. Следует отыскать начало зла и вырвать его с корнем. Знатные лица запятнаны этой постыдной и порочной слабостью, которая за последнее время сделала ужасающие успехи. При виде уважаемых имен в этом списке современных Сарданапалов, нельзя не сетовать на слабости человеческой природы, а между тем в эти списки занесены только лица, вызвавшие вмешательство полиции по поводу неприятностей, которые они навлекли на себя своим гнусным поведением.

В публике говорили, что я в своих записках не намерен говорить о политической полиции, но я задался целью затронуть все отрасли полицейского ведомства, — начиная от полиции иезуитов до придворной, от полиции, наблюдающей за нравственностью до дипломатической полиции (политического шпионства). Я разоблачу всю механику этих машин, которые приводятся в движение не ввиду общего

блага, но ради личных интересов того, кто поставлен за ней надсмотрщиком, т. е. другими словами — первого встречного. Политическая полиция равносильна понятию об учреждении, созданном и содержимом с целью обогатиться на счет правительства, постоянно поддерживая его тревоги и опасения; с политической полицией связано также стремление записывать в бюджет тайные расходы, изобретать какое-нибудь употребление для сумм, часто незаконно и непроизводительно взимаемых (налог на публичных женщин и разные другие мелочные повинности), стремление некоторых чиновников придать себе значение и важность, заставляя думать, будто правительству угрожает опасность; наконец, желание доставить заработок целой шайке низких авантюристов, интриганов, игроков, обанкротившихся купцов, доносчиков и т. п. Может быть, мне посчастливится выяснить всю бесполезность этих постоянных агентов, предназначаемых для того, чтобы предупреждать покушения, повторяющиеся от времени до времени, преступления, которых и не существовало, заговоры, которых они никогда не раскрывали, разве только подготовили их сами. Я намерен распространиться обо всем беспощадно, беспристрастно, безбоязненно.

Я скажу всю правду в качестве свидетеля или действующего лица в событиях.

Я всегда питал глубокое презрение к политическим шпионам по двум причинам: во-первых, не выполни своей миссии, они делаются обманщиками, а выполняя ее и затрагивая личности — они делаются подлецами. По своей профессии я принужден иметь сношения с этими шпионами, состоящими на жалованьи; я знал их всех более или менее близко и всех переименую… Я никогда не мог разделять их подлости; но я отлично видел их происки и подкопы, мне досконально известны все мины и контрмины, которые полиция пускает в ход. Я изучил, каким образом можно обеспечить себя от их действия, как можно насмеяться над ними, сбить их с толку

в их коварных замыслах и комбинациях и иногда водить их за нос. Я все изучил, за всем наблюдал, ничто не ускользнуло от моего внимания, и люди, давшие мне возможность делать мои наблюдения, не были изменниками, «ложными братьями», так как я был во главе одного из отделений полиции и они могли предположить, что я принадлежу их компании: разве мы не черпали из одной казны?

Поверят мне или нет, но я нарочно сделал здесь несколько унизительных признаний, чтобы не могли сомневаться в том, что я непременно, не колеблясь, признался бы в своем участии в политическом шпионстве, если бы участие это действительно существовало. Газеты, не всегда получающие достоверные сведения, уверяли, что я присутствовал на различных сходках, что я со своей бригадой участвовал в экспедициях во время июньских смут, и по случаю похорон генерала Фуа, в годовщину смерти молодого Лалемана, в школах медицины и правоведения, когда дело шло о том, чтобы заставить восторжествовать учение конгрегации. Меня можно было действительно видеть всюду, где только было многолюдное сборище, но из этого по справедливости можно заключить только то, что я разыскиваю воров и карманников там, где вероятнее всего их встретить. Я наблюдал за мазуриками, отрезывающими часы и кошельки у партизанов всех партий, но смею утверждать, что ни один субъект, схваченный по обвинению в мятеже, не мог сказать, чтобы арестовавший его был из наших агентов. Нельзя никаким образом смешивать политических шпионов с сыщиками, существующими, собственно, для воров и мошенников. Круг действия их резко выделяется: первому необходима только некоторая степень мужества, чтобы арестовать честных людей, которые обыкновенно не оказывают сопротивления. Второй имеет надобность в мужестве совсем иного рода — мошенники народ непокорный. Одно время упорно держался слух, будто бы я, переодетый в водовоза, находился в группе

студентов, не желавших лекций профессора Рекамье, и что я чуть-чуть не поплатился жизнью. Слух этот не имеет, однако, никакого основания. Действительно, заметили одного шпиона, которому угрожали и даже производили над ним насилие; но, к моему благополучию, это был вовсе не я. Если бы мне случилось быть среди этих молодых людей, то я бы не поколебался объявить им свое имя. Они скоро убедились бы, что Видоку нет никакого дела до папенькиных сынков, не занимающихся карманным воровством. Если бы я очутился между ними, мне удалось бы избегнуть всяких неприятностей, и всем стало бы очевидно, что моя миссия состоит не в том, чтобы мучить и тиранить людей, уж без того выведенных из себя. Человек, спасшийся от разъяренных студентов, скрывшись в боковой аллее, был полицейский офицер, некто Годен. К тому же, повторяю, политические преступления, бунтовщики и т. п. вовсе не моя специальность, и если бы в моем присутствии произнесли самое революционное воззвание, то я счел бы долгом не заметить его. Политическая полиция обходится без регулярных сил; в случае надобности она всегда располагает волонтерами, служащими за жалованье или же даром и всегда готовыми исполнять ее желания. В 1793 году она рассылала всюду своих агентов, которые вырастали из земли и после избиения возвращались в нее. Люди, разбивавшие стекла в 1827 году перед резней в улице Сен-Деми, надеюсь, не были членами моей бригады. Призываю в свидетели гг. Делано и Франшэ. В Париже есть люди еще похуже освобожденных арестантов, и во многих случаях пришлось убедиться, что они не всегда решаются делать все, что от них пожелали бы потребовать. Роль моя в политической полиции ограничилась исполнением нескольких приказов королевского прокурора и министров, но эти приказы были бы отлично исполнены и без меня, так как были обставлены необходимой законностью. К тому же никакие силы земные, никакие соблазны не могли заставить меня действовать вразрез с моими

принципами и чувствами; можно быть уверенным в моей искренности, узнав, по каким причинам я добровольно избавил себя от должности, которую занимал в течение пятнадцати лет; когда узнают источники нелепой выдумки, будто я был повешен в Вене за попытки умертвить сына Наполеона, и когда я расскажу, с какими иезуитскими кознями связан вымысел об аресте одного вора, которого будто бы недавно схватили позади моей кареты, когда я проезжал по площади Бодуабе.

Составляя свои записки, я сначала предполагал кое-что сократить и умолчать, ввиду моего личного положения — это была осторожность с моей стороны. Хотя помилованный с 1818 года, я, однако, не был вне строгости административных мер; грамота помилования, которую я получил, не была формально утверждена; за отсутствием ревизии очень могло случиться, что власти, в распоряжении которых я находился, заставят меня раскаяться в некоторых разоблачениях. Но теперь, когда я в своем торжественном заседании, состоявшемся 1 июля, уголовный суд в Дуэ объявил, что мне возвращаются права, отнятые у меня по ошибке, — теперь я не опущу ни слова, не скрою ничего, что мне следует сказать, я буду нескромен именно в интересах государства и общественного блага; намерение это будет просвечивать во всякой странице моих записок. С тем, чтобы безукоризненно выполнить эту цель и никаким образом не обмануть общего ожидания, я возложил на себя задачу, весьма тяжелую для человека, более привыкшего действовать, нежели повествовать, — а именно: изменить часть своих записок. Они были уже готовы, вполне окончены, и я мог бы обнародовать их в таком виде, но, не говоря уже об излишней сдержанности, читатель легко мог бы заметить в них постороннее влияние, которому я подчинился невольно, не сознавая этого. Не доверяя самому себе и мало знакомый с требованиями литературного мира, я часто подчинялся советам и наущениям одной личности, называвшей

себя литератором. К несчастью, я узнал, что этот господин был за известное вознаграждение подослан ко мне с целью изуродовать мою рукопись и представить меня самого в гнусных красках, искажая смысл того, что я хотел сказать. Весьма серьезное приключение, случившееся со мной, — перелом правой руки, вследствие чего мне принуждены были отнять ее, — содействовало выполнению этого плана. Поспешили воспользоваться временем, когда я терпел страшные муки. Первый том был уже напечатан, когда открылась вся эта гнусная интрига. Чтобы вполне разоблачить и разрушить ее, я мог бы начать свою историю снова, но до сих пор дело шло только о моих личных приключениях, и хотя меня стараются в них представить в дурном свете, но я надеялся, что, помимо разных мелочей, факты остаются те же, и поэтому сумеют оценить их по их значению и вывести из них справедливые заключения. Вся часть рассказа, касающаяся моей частной жизни, оставлена мною неприкосновенной; я был властен принести в жертву свое самолюбие — жертву эту я принес, рискуя заслужить обвинения в нескромности. Но со времени моего поступления в булонские корсары можно заметить, что я веду рассказ самостоятельно. Барон Пакье одобрил мою прозу; он всегда имел к ней особенную слабость; помню, как часто он хвалил редакцию докладов, которые я представлял ему; как бы то ни было, но я исправил недостатки, насколько был в силах, и, невзирая на то, что я сильно занят управлением большого промышленного заведения, учрежденного мною, — я решился окончательно переделать часть моей книги, касающуюся полиции. Необходимость подобного труда причинила некоторое промедление, но в то же время она оправдывает его, и публика ничего не потеряет. В былое время Видок, находясь под гнетом обвинения, мог говорить не иначе, как с известной сдержанностью, теперь же Видок, свободный гражданин, имеет право выражаться открыто.

Глава тридцатая

Мошенники до революции. — Развлечения некоего генерал-лейтенанта. — В былое время и теперь. — Смерть Картуша. — Вербовка волонтеров в колониальные полки. — Горбуны, выстроенные в шеренгу, и галоп хромых. — Пресловутый Фламбор и прелестная еврейка. — «Chauffeur», превратившийся в полицейского сыщика. — Можно быть в одно и то же время патриотом и вором. — Лучшие друзья в свете. — Два часа, проведенные в Сен-Роше. — Старик в затруднительном положении. — Опасность проходит мимо корпуса жандармов. — Бупиль принимает меня за зубного врача

Не знаю, каких таких сыщиков имели при полиции гг. Сартин и Ленуар, известно только то, что во времена их администрации ворам была, что называется, лафа, и их водилось немало в Париже. Главный начальник полиции мало заботился о том, чтобы остановить их подвиги, это было не его дело; только он не прочь был познакомиться с ними и от времени до времени заставлял их забавлять себя, если знал их за людей ловких и искусных в ремесло.

Приезжал, например, в столицу какой-нибудь знатный иностранец; начальник тотчас же снаряжал к нему цвет мошенников и за приличную плату, обещанную заранее, предлагал им доказать свое искусство, похитив у приезжего часы или какую-нибудь ценную вещь. Если покража удавалась, то немедленно уведомляли об этом господина начальника полиции, и иностранец, явившись к нему, разевал рот от удивления: едва успевал он заявить о пропаже, когда вещь уже возвращалась ему.

Де Сартин, о котором было столько толков и о котором продолжают говорить до сих пор, не нашел, по-видимому, лучшего средства, чтобы доказать, что французская полиция лучшая во всем мире. Подобно своим предшественникам,

у него было странное пристрастие к мошенникам, и те из них, чью ловкость он раз особенно заметил и отличил, могли быть уверены в безнаказанности.

Часто он делал вызовы; призвав их в свой кабинет, он обращался к ним со словами: «Господа, дело идет о том, чтобы поддержать репутацию и честь парижских мошенников; уверяют, что вам не удастся совершить такую-то покражу… Лицо, до которого это касается, настороже, поэтому примите предосторожности и подумайте о том, что я поручился за ваш успех».

В эти счастливые времена г. начальник полиции не менее гордился своими мазуриками, нежели блаженной памяти аббат Сикар своими глухонемыми. Важные сановники, посланники, принцы, сам король приглашались любоваться на их подвиги. В наше время держат пари на скаковых лошадей — тогда держали пари на искусство карманников. В обществе, если желали повеселиться, то посылали за одним из мазуриков, находящихся в распоряжении начальника полиции, так просто, как теперь послали бы за жандармом. У г. де Сартина всегда было их под рукой штук двадцать самых пронырливых — для развлечения двора. Обыкновенно это были маркизы, графы, дворяне или, по крайней мере, люди, имеющие вид и манеры придворных, от которых их тем труднее было отличить, что в игре их соединяла общая наклонность, страсть к шулерству и плутовству.

Хорошее общество, по своим манерам и привычкам мало разнившееся от мошенников, могло, не компрометируя себя нисколько, допустить их в свою среду. Я читал в мемуарах времен Людовика XV, что их приглашали на вечера, как в наши дни приглашают за деньги знаменитого престидижитатора мсье Конта или известного певца.

Не раз по просьбе какой-нибудь герцогини из казематов Бисетра выпускали какого-нибудь вора, известного своими ловкими штуками, и если на опыте его искусство оправдывало

высокое понятие, которое составляла о нем знатная барыня, то редко случалось, чтобы г. начальник полиции, частью из дамской угодливости, частью по другим причинам, не даровал свободу такому драгоценному субъекту. В эти времена, когда у каждого сановника карманы были набиты грамотами помилования, редко самый сановный и чиновный вельможа мог устоять перед забавностью ловкого мазурика, и коль скоро последнему удалось насмешить особу, он мог рассчитывать на помилование. Наши предки были снисходительны и легче поддавались на забавы; они были проще нас, мягкосердечнее: вот почему они, вероятно, придавали такую цену тому, что не было так просто и так чистосердечно… В их глазах какой-нибудь «roue» был идеалом совершенства; они превозносили его до небес, восторгались им, любили повествовать о его подвигах и слушать о них рассказы. Когда бедняжку Картуша повели на Гревскую площадь, все знатные дамы обливались слезами жалости — это было сущее отчаяние.

При старых порядках полиция не могла разгадать истинного значения мошенников и пользу, которую можно извлечь из них; она видела в них предмет для времяпрепровождения и только позднее решилась поручить им часть надзора над общественной безопасностью. Конечно, она отдала предпочтение наиболее знаменитым ворам, так как они всего вероятнее должны были быть смышленее других. Полиция избрала из их среды нескольких, которых сделала тайными сыщиками; они не думали отказываться от первоначального своего ремесла — воровства, но обязывались выдавать своих товарищей, помогавших им в их экспедициях. Ценою этого они имели право захватывать всю добычу для себя, и их никогда не преследовали за совершаемые ими преступления. Вот каковы были условия их союза с полицией; что касается вознаграждения, то они его не получали: и без того им предоставлялась уже важная льгота, дозволяя им заниматься безнаказанно недозволенным ремеслом. Эта безнаказанность

прекращалась обыкновенно в том случае, если виновного заставали на месте преступления, когда вмешивалась судебная власть; но это случалось довольно редко.

Долгое время в охранительную полицию допускали только не осужденных еще или освобожденных воров: в конце VI года республики в нее стали допускать беглых каторжников, которые выполняли должности сыщиков, чтоб только иметь возможность гранить парижскую мостовую. Это были орудия довольно опасного свойства, поэтому ими пользовались с известной осмотрительностью и спешили избавиться от них, коль скоро они переставали приносить пользу. Обыкновенно за ними снаряжали нового тайного агента, который, увлекая их в засаду, компрометировал их и доставлял предлог для их ареста.

Ришар, Клике, Муль-Фарин, Бомон и многие другие, служившие при полиции, были все таким образом спроважены в галеры, где покончили свою карьеру, подвергаясь страшным преследованиям своих бывших товарищей, которым изменили. Тогда у агентов полиции была мания воевать между собою, и поле битвы оставалось за самыми хитрыми и лукавыми.

До сотни подобных личностей, из которых многих я уже поименовал, — Компер, Цезарь Виок, Лонгвиль, Симон, Бушэ, Гупиль, Коко-Лакур, Анри Лаши, Доре, Гилье, прозванный Бомбансом, Каде, Поме, Минго, Назан, Левей, Гафре, Флорентен, Бордари и многие другие, — сменялись друг другом в тюрьмах; они отправляли туда друг друга посредством взаимных обвинений, конечно, небезосновательных; все они воровали, иначе и быть не могло: без воровства они не имели бы возможности существовать, так как полиция не думала заботиться об их пропитании.

Первоначально число воров, поступавших на службу в полицию, было весьма ограничено; прием, оказываемый в тюрьмах «ложным братьям», был вовсе не такого свойства,

чтобы умножать их число. Было бы напрасно подозревать их в известной доле честности — нет, большая часть из них не выдавала своих товарищей из боязни поплатиться за это жизнью. Но мало-помалу эти опасения, как и всякая другая опасность, которую необходимо преодолеть, стали ослабевать. Позднее потребность избегнуть произвольных преследований, на которые полиции было дано право, способствовала распространению между ворами привычки выдавать друг друга.

Когда без дальнейших рассуждений и только ради удовольствия полиции заключали в темницы, до нового распоряжения, субъектов, прослывших «неисправимыми ворами» (название нелепое в стране, где ничего не сделали для их исправления), многие из этих несчастных, утомившись заключением, конца которого нельзя было предвидеть, осмелились прибегнуть к странной уловке, чтобы получить прощение. Воры, прослывшие «неисправимыми», были в своем роде лица «подозрительные»: доведенные до того, что им приходилось завидовать судьбе осужденных, так как тех, по крайней мере, выпускали по истечении известного срока, — они заставляли выдавать себя за мелкие воровства, в которых часто даже были неповинны; нередко случалось, что преступление, из-за которого они судились, уступалось им за известную плату тем самым сообщником, который выдал их. Сколько бутылок осушали в кабаках те счастливцы, которым удалось сбыть за деньги какое-нибудь преступление. Счастливый был день для нового, добровольно осужденного, когда его уводили из Бисетра и препровождали в Форс; но еще счастливее он себя чувствовал в тот день, когда должен был предстать перед судьями, которые произносили над ним вердикт, в силу которого он должен был оставаться в заключении всего несколько месяцев. По истечении этого срока ему наконец объявляли о давно ожидаемом освобождении; но вдруг перед самым выходом его снова хватали и снова он де-

лался подсудным префекту полиции, затем снова следовало заключение в Бисетр на неопределенное время.

Не лучше была судьба женщин; тюрьма Сен-Лазар была переполнена этими несчастными, доведенными до отчаяния незаконными строгостями.

Префект неутомимо продолжал заключать в тюрьмы новые жертвы, но настало время, когда, за недостатком места, пришлось поочистить казематы, в особенности там, где люди были скучены один на другом. На этом основании он внушил так называемым «неисправимым», что от них зависит положить предел их заключению и что немедленно выдадут подорожные всем тем, кто пожелает поступить на службу в колониальные батальоны. Тотчас же откликнулась толпа охотников. Все были убеждены, что им дозволят пользоваться свободой, — им ведь это обещали. Но каково было их удивление, когда за ними явились жандармы и поволокли их из одной бригады в другую, до места назначения! С этих пор арестанты не совсем охотно стали надевать военную форму. Префект, увидев, что их рвение внезапно охладело, предписал тюремщикам уговаривать их поступать в полки, а в случае отказа он поручил даже принуждать их силой с помощью дурного обращения. Можно быть уверенным, что в подобных случаях тюремщик всегда делает более, нежели от него требуют. Тюремщик в Бисетре принуждал не только годных к оружию арестантов, но и тех, которые были положительно неспособны к военному делу. Никакое увечье, никакая болезнь не считались уважительной причиной — ему все были годны: горбатые, косые, хромые и даже старики. Напрасно они протестовали, префект решил, что они будут солдатами, и волей-неволей их перевозили на острова Олерон или Рео, где начальники их, выбранные из числа самых грубых, неотесанных армейских служак, обращались с ними, как с неграми. Весь ужас этой меры был причиной того, что многие молодые люди, не желавшие подчиняться такой

горькой участи, предложили свои услуги полиции: Коко-Лакур первый решился прибегнуть к этому пути, единственно доступному. Вначале немного поломались, прежде нежели приняли его; но в конце концов, убедившись, что человек, с раннего детства близко знавший воров, — отличная находка, префект согласился поручить его контролю тайных агентов. Лакур дал торжественное формальное обязательство сделаться честным человеком, но был ли он в состоянии удержаться на этом похвальном пути? Вознаграждения он не получал ни полушки, а когда обладаешь хорошим аппетитом, голос желудка громче голоса совести.

Быть полицейским шпионом и не получать никакого содержания — есть ли положение хуже этого? Это значит быть заодно шпионом и вором, поэтому против тайных агентов существовало предубеждение, заставлявшее обвинять их во всяком случае — были ли они виновны или нет. Если бы какому-нибудь разбойнику вздумалось ради мести донести на них, то им не было никакой возможности добиться оправдания.

Я мог бы привести тысячу случаев, когда полицейские шпионы, хотя и положительно невиновные в преступлении, в котором обвинялись, погибали вследствие приговора суда. Ограничусь тем, что упомяну о следующих двух фактах.

У председателя суда Гемара по пути его в имение украли одну из важей с вещами. В гневе на виновников покражи он дал себе слово не щадить усилий, чтобы каким-нибудь путем попасть на их след; он желал навлечь на них всю строгость законов. Они по-настоящему подлежали исправительной мере, но г. Гемар не мог решиться смотреть на воровство, касающееся его особы, как на простое покушение. Всякая кара была бы слишком мягкою. Ему хотелось подвести это под категорию важных преступлений, и на этом основании он обратился к главному прокурору с требованием разъяснить вопрос, не требует ли взлом после совершения покражи увеличения наказания.

Гемар, очевидно, вызывал на утвердительный ответ и получил его. Между тем воры, имевшие дерзость возбудить желчность криминалиста, были открыты и арестованы. Их накрыли с украденными вещами, и им трудно было бы отрицать свою вину; они подозревали, что их выдал один бывший товарищ. Это был некто Бонне, полицейский шпион. Они выдали его на следствии за своего сообщника, и Бонне, хотя положительно невиновный, был, как и они, приговорен в каторжную работу на двенадцатилетний срок.

Вот и другой пример с двумя тайными агентами. Каде-Герриец со своим родственником Ледраном украли чемоданы и, вынув все, что в них заключалось, сложили их у своих товарищей, Тормеля и его сына, а потом донесли на них при следствии. Ни в чем не повинные Тормель были действительно накрыты с украденными чемоданами и осуждены за мошенничество, выгодами которого воспользовались одни доносчики. В Бисетре и в Форсе не проходило ни одного дня, чтобы мне не случалось слышать споры этих негодяев, упрекавших друг друга в разных мошенничествах. С утра до вечера сверхштатные шпионы жестоко грызлись между собою, и их гнусные пререкания вполне выяснили мне, насколько пагубно и опасно было ремесло, которому я хотел посвятить себя. Впрочем, я не отчаивался избегнуть этих опасностей, и все приключения и неудачи, которых я был свидетелем, только послужили для меня опытом, которым я старался воспользоваться для будущих своих действий, имея в виду оградить себя от опасности.

В первом томе своих записок я упоминал об еврее Гафре, под начальство которого я, собственно говоря, был поставлен при поступлении моем в полицию. Гафре был в то время единственным тайным агентом, находящимся на жалованье. Едва я успел поступить к нему, как ему пришла в голову фантазия отделаться от меня. Я сделал вид, что не замечаю его намерения, и если он желал погубить меня, то я со своей

стороны намеревался разрушить его коварные замыслы. Мне приходилось иметь дело с сильным противником: Гафре, как говорится, собаку съел на своем деле. Когда я узнал его, он слыл за великого артиста среди воров. Свою карьеру он начал с восьми лет, а в восемнадцать был высечен и заклеймен на площади Старого рынка, в Руане. Его мать, бывшая любовницей старого Фламбара, начальника Руанской полиции, сначала пыталась спасти его, но несмотря на то, что она была одна из красивейших евреек своего времени, не могла добиться ничего. Гафре был слишком преступен — воплощенная Венера не могла бы склонить судей в его пользу. Он был изгнан, но Францию не покинул; когда вспыхнула революция, он не замедлил приняться снова за свои достославные подвиги среди банды shauffeur'ов, у которых он был известен под именем Калья.

Как большая часть воров, Гафре усовершенствовал свое образование в тюрьмах; он приобрел повсеместную известность, т. е. не было ни одного рода и способа воровства, в котором он не был бы мастером. Поэтому-то, вопреки обычаю, он не усвоил себе никакой специальности, все было ему под силу и под стать, начиная от «черной работы» (убийства) и кончая мазурничеством. Благодаря такому многостороннему таланту, этому обилию и разнообразию способностей, он скопил себе деньгу. Говорили, что у него есть кое-что на черный день и что он мог бы жить не работая. Но люди такого покроя, как Гафре, обыкновенно трудолюбивы, и хотя он получал довольно значительное содержание от полиции, но не переставал прибавлять к нему барыши от своего недозволенного ремесла, что не мешало ему пользоваться доброй славой в своем квартале (квартал Сен-Мартен), где он и его закадычный друг, жид Франк-Фор, получили звание капитанов национальной гвардии.

Гафре сильно опасался, чтобы я не заменил его, но старая лисица не оказалась настолько хитра, чтобы скрыть свои

намерения; я наблюдал за ним и не замедлил убедиться, что он старается завлечь меня в ловушку. Я сделал вид, что поддаюсь на удочку, и когда он уже внутренне праздновал победу и подготовлял мне капкан, который я угадал заранее, он попался в свои собственные сети и высидел месяцев восемь под арестом.

Я никогда не показывал ему виду, что замечаю его коварство; что касается до него, то он продолжал таить ко мне непримиримую ненависть, хотя по виду мы были лучшими друзьями на свете. То же самое было и с другими ворами и вместе с тем тайными агентами, с которыми я завязал сношения во время моего заключения. Они от всей души ненавидели меня, и хотя мы друг перед другом старались улыбаться, но я платил им тою же монетой. Гупиль, прозванный кулачным героем, был из числа тех, которые преследовали меня своей навязчивой дружбой; он постоянно следил за мною по пятам и исполнял роль соблазнителя, но он не оказался счастливее и ловчее Гафре. Компер, Маниган, Корве, Буте, Лелутр также пытались подставить мне ногу, но я был непоколебим, благодаря советам г-на Анри. Выпущенный на волю, Гафре не отказался от своего плана скомпрометировать меня; вместе с Маниганом и Компером они задумали окончательно погубить меня, но предчувствуя, что первая неудача не охладит их и что они не оставят меня в покое, я постоянно был настороже. Я ждал врага с твердостью; однажды, когда какой-то церковный праздник должен был привлечь много народу в Сен-Рок, он объявил мне, что я должен отправиться туда вместе с ним.

— Мы с собой возьмем также приятелей, Компера и Манигана; теперь, кстати, в Париже много мошенников из чужих, нездешних, вот они и помогут нам разузнать их.

— Как хотите, — ответил я, и мы отправились. Прибыв на место, мы увидели, что стечение народа было громадное. Долг службы требовал, чтобы мы не были скучены в одном

месте; Маниган и Гафре шли впереди. Вдруг я заметил, что около того места, где они находятся, теснят старика с целью обобрать его. Прижатый к колонне, добряк не знает, что с собою делать: кричать он не хочет из уважения к священному месту, а между тем он находился в совершенно безвыходном положении; парик его сбился на сторону, шляпа вывалилась из рук.

— Господа, прошу вас! — лепечет он жалобным голосом. — Прошу вас…

Держа в одной руке трость с золотым набалдашником, в другой — табакерку и носовой платок, он беспомощно барахтается в толпе и машет руками, которые хотел бы опустить ниже, но ему мешают. Я понял, что у него в эту минуту вытаскивают часы, но что мог я сделать? Я слишком далеко стоял от жертвы, всякое вмешательство с моей стороны было бы слишком поздно, и потом, разве Гафре не был сам свидетелем и даже соучастником этой сцены? Если он молчит, значит имеет на это основания. Я нашел благоразумнее всего наблюдать молча, и в течение двух часов, пока продолжалась церемония, я имел случай видеть пять или шесть таких же искусных уловок, причем всегда присутствовали Гафре и Маниган. Последний, находящийся теперь в Брестском остроге, приговоренный к каторжной работе на двенадцать лет, в это время был самым ловким и продувным мазуриком в столице. Он был неподражаем в искусстве перекладывать деньги из чужого кармана в свой собственный и делал это с изумительной быстротой и юркостью.

Маленькое дельце, которое он обделал в Сен-Рокской церкви, было не из самых выгодных; между тем, не считая часов старика, в его карман поступило два кошелька и несколько других не ценных предметов.

По окончании церемонии мы отправились обедать в трактир; мои спутники угощали на свой счет; вино лилось рекою, при этом мне доверили тайну, которой от меня не

могли скрыть: прежде всего зашла речь о кошельках, в которых нашли сто семьдесят пять франков звонкой монетой. Когда заплатили за обед, осталось еще лишних сто франков, на мою долю пришлось двадцать, которые мне и вручили, наказав держать язык за зубами. Так как деньги не могут доставить улик, то я не счел нужным отказываться. Мои собеседники были в восторге, что наконец посвятили меня в число своих, — в честь этого осушили две лишних бутылки белого вина. О часах не упомянули ни полслова, я тоже промолчал из предосторожности, чтобы не показаться догадливее, нежели они предполагали, но я весь обратился в зрение и слух и не замедлил убедиться, что часы были в руках Гафре. Тогда я стал притворяться пьяным и под предлогом известной надобности попросил гарсона проводить меня. Он повел меня куда следует, и я написал карандашом записку следующего содержания: «Гафре и Маниган только что украли часы в Сен-Рокской церкви; через час, если они не переменят намерения, то отправятся на рынок Сен-Жан. Украденная вещь находится у Гафре».

Я впопыхах сошел вниз, и пока Гафре и его сообщники считали меня еще на пятом этаже, я был уже на улице и отправил гонца к г-ну Анри. Затем я снова поднялся на лестницу, не теряя времени. Мое отсутствие не было слишком продолжительно. Вернувшись, я запыхался и был красен, как вареный рак. Меня спросили, легче ли мне теперь.

— Да, гораздо легче, — пробормотал я, в изнеможении падая на стул.

— Сиди же, наконец, да держись крепче, — заметил Маниган.

— Он лыка не вяжет, да и в глазах-то у него двоится, — сказал Гафре.

— Вот уж нализался-то, — прибавил Компер, — лучше быть не может! Впрочем, на воздухе он опомнится и протрезвится.

Мне велели подать сахарной воды.

— Черт вас дери, — бушевал я, — как, неужели мне воды? Стану я вашу воду пить!

— Выпей, лучше будет.

— Ты думаешь?

Я протянул руку: вместо того, чтобы взять стакан как следует, я опрокинул и разбил его. Много я говорил разного вздора и выделывал разные фокусы для потехи честной компании, а когда по моим соображениям г-н Анри должен был уже получить мое послание и успел принять надлежащие меры, тогда я мало-помалу пришел в чувство.

Выходя, я с радостью заметил, что они не изменили своего первоначального намерения. Мы действительно направились на рынок Сен-Жан; там я увидел отряд жандармов. Заметив издали солдат, сидевших около ворот, я не усомнился в том, что они явились благодаря моему посланию, тем более что позади них виднелся инспектор Менаже. Когда мы проходили мимо, они вежливо остановили нас, взяли за руки и попросили следовать за ними на гауптвахту. Гафре не мог сообразить, что бы это значило; он подумал, что солдаты ошиблись. Он приготовился было возражать, но ему не дали, и пришлось волей-неволей подчиниться обыску. Начали с меня — не нашли ничего; потом дошла очередь до Гафре, который чувствовал себя не совсем ловко, и, услыхав слова комиссара, обращенные к секретарю: «Пишите: часы, украшенные бриллиантами», — он побледнел. Он сильно сконфузился и бросил на меня тревожный взгляд. Подозревал ли он о случившемся? Не думаю, так как между ними было условлено, что я не узнаю о покраже часов, и к тому же они были уверены, что если даже я об этом знал что-нибудь, то не мог их выдать; доказательством служило то, что я был все время с ними.

Гафре на допросе показал, что часы он купил; никто не сомневался в том, что он говорит неправду; но пострадавшее лицо не явилось требовать украденной вещи, и осудить его

не было никакой возможности; тем не менее его заключили в тюрьму административным порядком, и после продолжительного пребывания в Бисетре он был отправлен под надзором в Тур, а оттуда снова вернулся в Париж, где умер в 1822 году.

В это время полиция так мало доверяла своим агентам, что прибегала ко всевозможным уловкам, чтобы испытать их. Однажды ко мне подослали Гупиля, и тот явился с престранным предложением.

— Знаешь ты Франсуа-кабатчика? — спросил он.

— Ну да, а что?

— Если хочешь, «выдернем у него зуб».

— Каким это образом?

— Вот уже несколько раз он обращается в префектуру с просьбой дозволить ему запирать заведение позднее полуночи; ему всегда отказывали, и я дал ему понять, что от тебя зависит, чтобы ему наконец дали желаемое дозволение.

— Совершенно напрасно, я ничего не могу сделать.

— Как не можешь? Вот новость. Конечно, ты ничего не сделаешь, а только убаюкаешь его сладкой надеждой.

— Ну прекрасно, но что он от этого выиграет?

— Скажи лучше, что мы выиграем? Франсуа такой малый, который не постоит за деньгами. Он уж знает, что ты всеми вертишь в полицейской администрации; он хорошего о тебе мнения и, понятно, раскошелится по первому требованию.

— Ты думаешь, что он действительно раскошелится?

— Наверное, дружище: он столько же дорожит шестьюстами франков, как какой-нибудь полушкой. Главное дело — обнадежить его, а потом облапошить.

— А если он узнает да рассердится?

— Ну тогда к черту его. Впрочем, не беспокойся, я беру на себя все хлопоты. Уговор лучше денег. Пойду подготовлю все как следует, рыбка попадет. — Гупиль с этими словами схватил меня за руку и, крепко сжав ее, сказал:

— Итак, я немедля иду к Франсуа и объявлю, что ты явишься вечером часов в восемь, а ты приходи в одиннадцать, будто бы тебя задержали. В полночь нас попросят уйти, ты скорчишь обиженного и недовольного, а Франсуа воспользуется случаем и сунет тебе кое-что в руку. Ты ведь малый ловкий, остальное пойдет как по маслу. До свиданья.

Мы расстались, но едва успели разойтись, как Гупиль снова вернулся: «Послушай, — сказал он, — часто бывает, что перья оказываются лучше самой птицы; мне надо перья — слышишь ли, а не то…» Он принял самый отчаянный вид, широко разинул громадный рот и, покачивая свои длинные руки над самой землей, довершил свою угрозу выразительным жестом, изображая повешенного.

— Ну ладно, что тут говорить. Никого не обидим и разделим поровну.

— Честное слово мазурика?

— Да, да, будь спокоен.

Гупиль немедленно направился в Куртиль, которой посещал довольно часто, а я в полицейскую префектуру, где сообщил г-ну Анри о сделанном мне предложении.

— Надеюсь, — сказал мне мой начальник, — что вы не захотите участвовать в этой интриге.

Я возразил, что не имею на это никакой охоты, и он выразил мне свое удовольствие, что я предупредил его.

— Теперь, — сказал он, — я могу дать вам доказательство моего к вам доверия и сочувствия, которое вы во мне возбуждаете. — Он встал и принес большую папку с бумагами. — Посмотрите, порядочная пачка: все это доносы на вас; как видите, в них нет недостатка, а между тем я держу вас на службе и ни слова не верю тому, что в них содержится.

Доносы эти были произведения инспекторов и полицейских офицеров, которые из зависти настойчиво обвиняли меня в воровстве. Это был их вечный припев; то же самое говорили и воры, которых я поймал на месте преступления.

Они выдавали меня за своего сообщника; но я всегда опровергал клевету, мужественно боролся с нападками, и стрелы моих врагов разбивались о броню моей правдивости, которая, наконец, оказалась несомненной для всех, благодаря самым неопровержимым алиби. Обвиняемый ежедневно в течение шестнадцати лет, я не судился ни разу; и однажды только подвергался допросу судебного следователя по обвинению, представлявшему некоторую вероятность. Но едва успел я появиться, как все сомнения на мой счет рассеялись и меня немедленно освободили.

Глава тридцать первая

Не рой яму ближнему… — Волки, овцы и воры. — Шайка Видока. — Мои агенты оклеветаны. — На всякого мудреца довольно простоты. — Наденьте перчатки. — Уставы гг. Делаво и Дюплесси. — Бабье царство. — Строгость воров, считающих себя исправившимися. — Коко-Лакур и «старинный друг»

Хотя Гафре и Гупилю не удалось скомпрометировать меня своими интригами, однако другой из моих соперников, Корве, в свою очередь, хотел попытаться погубить меня. Однажды утром, желая добыть кое-какие сведения, я отправился к этому агенту, жена которого также состояла при полиции. Я нашел обоих супругов у себя дома, и хотя я мало был знаком с ними, но они с такой любезной готовностью доставили мне сведения, которые я желал получить, что я, как человек знающий правила общежития, предложил в оплату за их любезность угостить их бутылкой вина в ближайшем кабаке. Корве принял мое приглашение, и мы вместе отправились в отдельную комнату.

Вино нам попалось отличное. Мы выпили сначала одну бутылку, потом две, потом три. Отдельная комната, три бутылки вина — все это слишком достаточно, чтобы расположить к откровенности. В продолжение целого часа я не мог не заметить, что Корве готовится сделать мне предложение, наконец он собрался с духом. «Послушай, Видок, — сказал он, поставив стакан на стол, — ты у нас славный малый: одно худо, ты не откровенен с приятелями. Мы хорошо знаем, что ты «работаешь», только ты все хоронишь в самом себе. Если бы не это, мы могли бы обделывать славные делишки».

Вначале я сделал вид, будто не понимаю его слов.

— Полно, — продолжал Корве, — напрасно ты отнекиваешься, меня ведь не проведешь; я в твою душу не влезал, а знаю, к чему дело клонит. Я буду говорить с тобой, как с братом; уж после этого, надеюсь, ты не будешь ломаться. Хорошо

служить при полиции — спору нет, но ведь заработок-то не Бог весть какой: как разменяешь какой-нибудь несчастный экю, так и не видать его. Если обещаешь быть скромным, так я тебе открою два-три славных дельца; мы их обделаем вместе, и это не помешает нам через них же «провалить» приятелей.

— Как! — воскликнул я. — Неужто ты хочешь злоупотребить доверием, которое к тебе питают? Это нехорошо, и клянусь тебе, что если бы тебя заподозрили, то не стеснились бы послать на два, на три года в Бисетр.

— И ты ту же песню затянул? Под стать ли тебе деликатничать-то? Не знаем мы тебя, что ли?

Я выразил ему свое удивление по поводу его слов и прибавил, что я уверен, что он хочет только испытать меня или завлечь в ловушку.

— В ловушку! — воскликнул он. — В ловушку! Чтобы я имел намерение повредить тебе! Да знаешь ли, по мне лучше быть упрятанным на всю жизнь. Ишь что выдумал, надо быть олухом, чтобы подозревать меня в этом! Я не виляю и когда говорю что-нибудь, так оно так и есть: у меня нет задних мыслей, и в доказательство того, что я говорю правду, я тебе открою немного погодя, что сегодня вечером я устраиваю штуку. Я уже приготовил коловороты (ключи); если хочешь со мной пойти, то увидишь, как я обделаю дельце.

— Ну, сомневаюсь; или ты потерял голову, или хочешь опутать меня в сети, я это вижу.

— Ну полно, разве у меня так мало чувства (Возвышая голос). Говорят же тебе, что ты даже не приложишь руки к делу. Чего же тебе еще нужно? Я сделаю все дело с женой, ей не впервые приходится ходить со мной, но от тебя зависит, чтобы я больше не брал ее с собой. Двое мужчин — это всегда удобнее; что касается сегодняшнего дня, то это уж не твое дело. Ты подождешь нас в кафе на углу улицы Табретри. Это почти напротив того дома, где мы будем «шнырить» (воровать), и как только увидишь, что мы выходим, ты за нами

пойдешь следом: мы отправимся продавать вещи, и ты получишь свою долю. Уж после этого ты волен не доверять нам. Понимаешь ты меня?

Эти слова были произнесены с такой искренностью, что я, право, не знал, что и подумать о Корве. Искал ли он сотоварища, сообщника, или намеревался подвести меня? Я до сих пор еще не додумался, которое из этих предположений справедливее; одно было несомненно, что Корве был отъявленный подлец. По его собственному признанию, он с женою занимался воровством. Если он сказал правду, то мой долг был предать его в руки правосудия; если, напротив, он солгал, в надежде склонить меня на преступное деяние, чтобы выдать и погубить меня, то в этом случае необходимо было довести интригу до конца и доказать начальству, что искушать меня все едино, что напрасно терять время.

Я пытался отговорить Корве от его плана, но он был непоколебим, и я сделал вид, что соблазнился его доводами.

В избытке чувств он обнял меня, и мы назначили в четыре часа свидание у виноторговца. Корве отправился домой, и как только оставил меня одного, я написал к Аллемену, полицейскому комиссару улицы Кладбища Св. Николая, уведомляя его о приготовляющемся преступлении. В то же время я дал ему все необходимые указания и инструкций для того, чтобы он имел возможность схватить виновных на месте преступления.

В условленный час я был на своем посту. Корве и жена его не замедлили явиться. Я выпил с ними неизбежную бутылку, и, подкрепив свои силы, они отправились на работу. Минуту спустя я увидел, как они вошли в аллею улицы Гомери. Комиссар так славно принял меры, что накрыл обоих супругов в ту минуту, когда они выходили с добычей из ограбленной комнаты.

Эта интересная парочка была приговорена к каторжным работам на десять лет.

На разбирательстве Корве и его достойная подруга уверяли, что я играл по отношению к ним роль подстрекателя. Конечно, в моём поведении не было и тени подстрекательства, к тому же, что касается воровства, не может быть и речи о подстрекательстве. Всякий человек или честен, или нет; если он честен, никакие соображения, никакие соблазны не способны склонить его ко злу; если же нет, то для него все дело в удобном случае, который, очевидно, представится рано или поздно. А если этот случай потребует человеческую жертву, разве вор не превратится в убийцу? Без сомнения, всякого, кто старается развратить слабое существо, внушить ему вредные принципы, чтоб доставить себе возмутительное удовольствие предать его палачу, — можно считать самым отчаянным подлецом. Но когда человек испорчен, развращен вконец? Когда он бросил вызов своим ближним, в таком случае не значит ли принести пользу обществу, если завлечь его в ловушку, заманить его добычей, дать ему понюхать приманку, на которой ему суждено попасться? Хищные инстинкты волка вызываются не тем только, что ему показывают овцу. То же самое и с наклонностью к воровству: если оно свойственно человеку, тогда преступление совершится неминуемо, рано ли, поздно ли. Важно то, чтобы он совершал преступления при обстоятельствах, не могущих повредить никому; понятно, что если покушение предвидится, то это может предупредить сотню других покушений, виновник которых, долго скрывавшийся, мог бы пользоваться вредной для общества безнаказанностью. Меня никто не убедит в том, что дурно бросить змее клочок ткани, на которой она могла бы испустить свой вредоносный яд.

В таком громадном городе, как Париж, нет недостатка в испорченных натурах, в глубоко преступных сердцах. Но не у всякого из разбойников, населяющих столицу, красуется на лбу роковая надпись. Есть между ними такие, которые

настолько ловки, что проходят незамеченными и безнаказанными чрез целый ряд преступлений. Вот настоящие виновные. Их-то необходимо накрывать на месте преступления. Когда я начинал следить за такими людьми, или потому, что их знакомства, связи и обращение навлекали на них подозрение, пли потому, что они вели забубенную развеселую жизнь и никому не были известны источники их доходов, — я всегда решался подставлять им ногу, чтобы раз навсегда пресечь их подвиги; признаюсь, я нисколько не стыдился этого, поступая, как мне предписывал мой долг. Воры — это такие люди, природа которых расположена к присвоению чужой собственности, вроде того, как, например, волки расположены к хищничеству; но нельзя ни в каком случае смешивать волков с овцами; если бы случился в стаде какой-нибудь волк, одетый в овечью шкуру, если бы доказано было, что волк уже не раз показывал свои зубы, то можно ли поставить в вину пастуху, если он, с целью обнаружить кровожадные наклонности хищника, с целью избегнуть всяких бед на будущее время, подвергнет искушению всех тех, которых считает способными кусаться? Можно наверное рассчитывать на то, что попадется на эту удочку только тот, кто предрасположен к преступлению. Если Корве и его жена украли, то значит они уже были ворами, фактически или только по намерению. Да и к тому же я вовсе не подстрекал их, я только согласился на их предложение. Мне, может быть, возразят, что, пригрозив им, я мог бы помешать им совершить преступление, которое они замышляли, но пригрозить им — не значило исправить их; сегодня они воздержались бы от преступления, а завтра снова стали бы замышлять его, и, конечно, уж не позвали бы меня на подмогу. Что бы из этого вышло? То, что нравственная ответственность за преступление, которое они совершили бы, со всеми ее последствиями обрушилась бы на меня одного. И потом, если Корве получил поручение впутать меня

в скверное дело, с обещанием вознаграждения от префекта полиции, то разве забота о моей собственной безопасности не предписывала мне принять предосторожности, чтобы устранить повторение таких попыток, чтобы отбить охоту у всех моих врагов. Этого результата я вполне достигнул, выдав Корве комиссару того квартала, где он должен был действовать, вместо того, чтобы донести о нем в префектуру. Действуя таким путем, я был уверен, что если его и выдвинули вперед, то от него отрекутся, и правосудие сделает свое дело.

Если я остановился на факте подстрекательства в этом деле, то это потому, что большинство виновных, настигнутых мною на месте преступления, обыкновенно прибегали к этому способу защиты. Позднее увидят, что мысль ссылаться на такое жалкое извинение была внушена им моими врагами. Рассказ о заговоре, замышляемом четырьмя агентами моей бригады — Ютине, Кретьеном, Декостаром и Коко-Лакуром, докажет, к чему сводились главные обвинения против меня.

Я не стану повторять того, что я уже говорил о подстрекательстве по отношению к политическим преступлениям. Неудовольствие, законное или нет, раздражение, экзальтация, даже фанатизм — еще не составляют признаков развращенности; но они могут произвести временное ослепление, под влиянием которого человек перестанет быть честным, и самый безукоризненный гражданин легко заблуждается. Обманчивые аргументы, ложные комбинации, интрига, нитей которой он сам не видит, — все это может повергнуть его в пропасть. Является сатана и ведет его на высокую гору, откуда показывает ему все богатства земные, он обнаруживает перед ним весь арсенал химер, войска, орудия, солдат, народы, которые он может возбудить против притеснителей. Он соблазняет его обещаниями и приветствует его титулом освободителя; несчастный, воображение которого блуждает в небывалых пространствах, думает, что наконец-то он нашел точку опоры и рычаг, с помощью которого может перевернуть

всю вселенную. Подталкиваемый самым презренным из демонов, он осмеливается высказать свои мечты; в аду есть свои свидетели, есть суды, и развязка оканчивается у подножия эшафота; вот какова, в немногих словах, история патриотов 1816 года, повиновавшихся подстрекательству гнусного Шилкина. Но вернемся к охранительной бригаде.

После учреждения и организации этой бригады полицейские офицеры и их агенты, которые и без того были сильно озлоблены на меня, подняли шум негодования: они стали распространять на мой счет самые нелепые слухи, они изобрели название шайки Видока и прокричали, что наличный состав охранительной полиции образовался исключительно из освобожденных каторжников и закоренелых карманников, ловких в своем жалком ремесле. Можно ли, говорили они, допускать таких негодяев в охранительную полицию? Разве это не значит подвергать опасности жизнь и имущество граждан? «Стоит ему только захотеть, и он перережет всех нас, — говорил обо мне почтенный г. Иврие, — разве у него нет своих солдат? Это низость! Какие времена наступили для нас, нет более нравственности, нет более полиции!» Простак! Туда же со своей нравственностью! Впрочем, не это главное беспокоило его; гг. офицеры охотно простили бы нам наше прошлое, если бы сам префект не соблаговолил заметить, что когда дело коснется того, чтобы открыть вора и арестовать его, то на нас можно побольше надеяться, нежели на них. Наша ловкость и опытность подрывали их кредит в глазах начальства, и когда им было доказано, что все их старания, чтобы удалить меня, останутся тщетными, они переменили тактику. Перестав прямо нападать на меня, они стали строить козни моим агентам и не пренебрегали никакими средствами, чтобы очернить их перед властями. Совершалось какое-нибудь преступление, у входа ли в театр или внутри него, они немедленно строчили донос, в котором на членов страшной бригады было указано, как на виновников про-

ступка. Это повторялось всякий раз, как в Париже происходили какие-нибудь многолюдные сборища; гг. офицеры не пропускали ни одного случая, чтобы не привязаться к охранительной бригаде… Словом, не пропадало ни одной кошки, чтобы не обвинили нас в похищении ее.

Утомленный, наконец, этими постоянными обвинениями, я решился положить им конец. Чтобы зажать рот моим врагам, я не мог же отрубить руки у моих добрых помощников; они нуждались в них; но я объявил им, что с этой поры они должны постоянно носить замшевые перчатки и что первый, кого я встречу без перчаток на улице, будет немедленно прогнан со службы.

Эта мера окончательно обезоружила недоброжелательных людей; с этих пор уже нельзя было обвинить моих агентов в том, что они «работали» в толпе. Гг. офицеры не могли не знать, что ловко действовать может только обнаженная рука, и поэтому умолкли, припомнив пословицу: «Нет такой ловкой кошки, которая могла бы ловить мышей в рукавицах». Утром, когда мои помощники явились ко мне за распоряжениями, я объявил им о способе, который изобрел, чтобы прекратить все сплетни, которых они были жертвами.

— Господа, — сказал я, — вашей честности так же мало доверяют, как целомудрию монахов. За чем же дело стало? Чтобы убедить недоверчивых, я нашел, что лучше и естественнее всего парализовать члены, которые могут быть орудиями греха. Я уверен, что вы неспособны злоупотреблять ими, но чтобы избегнуть всякого подозрения, я требую, чтобы впредь вы постоянно носили перчатки.

Эта предосторожность была вызвана не поведением моих агентов, так как ни один из бывших воров и каторжников, поступивших ко мне, ничем не скомпрометировал себя во время своей службы в бригаде; некоторые из них снова впали в преступную жизнь, но уже когда были отставлены от службы. Ввиду прошлою и настоящего положения этих людей,

я мог иметь над ними произвольную власть; чтобы удержать их в соблюдении их долга, необходима была железная воля и твердая решимость. Мое влияние на них главным образом происходило от того, что они не знали меня до поступления моего в полицию; многие видели меня в Форсе или Бисетре, но я никогда не был их товарищем по заключению, и они не могли бы привести ни одного дела, в котором я участвовал бы с ними или с кем-нибудь другим.

Не лишнее заметить, что большинство моих агентов были освобожденные арестанты, которых я сам арестовал в те времена, когда они были во вражде с правосудием. По истечении срока их наказания они являлись ко мне с просьбой принять их к себе; убедившись в их способности и смышлености, я употреблял их в дело; вступив в мою бригаду, они исправлялись немедленно, но в одном только отношении: они переставали воровать; что касается остального, то они оставались попрежнему людьми развращенными, преданными буйству, разврату, пьянству и в особенности игре. Многие из них проигрывали целиком свое месячное жалованье, вместо того, чтобы платить за стол, квартиру и портному за одежду, которая была у них на плечах. Напрасно я старался по возможности не давать им свободного времени — они всегда находили минуту, чтобы предаваться своим пагубным и порочным привычкам. Посвящая восемнадцать часов в день на службу при полиции, они успевали кутить и развратничать. От времени до времени они позволяли себе разные неподходящие выходки и дурачества; если проступки были неважны, я всегда извинял их. Надо было действовать по отношению к ним с некоторой снисходительностью, вспоминая старинную пословицу: горбатого исправит лишь могила. Пока их проступки не выходили из пределов распущенности, я ограничивался одними выговорами и внушениями; часто мои увещания не оказывали решительно никакого действия — как об стену горох; но нередко, однако, они приносили пользу, смотря по характерам. К тому

же все агенты, состоящие у меня на службе, были твердо убеждены, что они составляют предмет постоянного надзора с моей стороны, и они не ошибались, у меня были свои, так называемые «мухи» (mouches), уведомлявшие меня обо всем, что они делали: словом, вблизи и вдали я не терял их из виду и немедленно узнавал о всяком нарушении устава, которому они обязаны были подчиняться. Может быть, покажется удивительным, что во всех случаях, когда этого требовал долг службы, эти люди, лишенные всякой дисциплины и необузданные во всех отношениях, подчинялись безусловно моей воле, не страшась даже никаких опасностей.

Вообще я убедился, что те из членов моей бригады, которые предавались делу искренно, всей душой, в известной степени исправлялись. Напротив того, те, кто питал отвращение к труду, впадали снова в распущенность, имевшую для них самые пагубные последствия. Я имел случай сделать наблюдение такого рода над неким Депланком, исполнявшим у меня должность секретаря.

Депланк был молодой человек, хорошо образованный, смышленый и ловкий; он умел хорошо передавать мысль, писал отличным почерком и обладал многими качествами, благодаря которым он мог бы занять довольно видное место в обществе. К несчастью, у него была пагубная мания к воровству и, к довершению беды, он был ленив до крайности. Это был вор с живым темпераментом, неспособный даже в своем ремесле на что-нибудь, что требовало энергии и терпения. Так как он не был аккуратен и плохо исполнял свою должность, то мне часто приходилось бранить его.

— Вы постоянно жалуетесь на мою небрежность, — отвечал он, — вы требуете от меня рабства, к этому я, право, не привык.

Надо заметить, что Депланк десять лет пробыл на каторге.

Допустив его в бригаду, я был убежден, что сделал отличное приобретение, но я не замедлил убедиться, что он

принадлежал к числу неисправимых, и я принужден был расстаться с ним. Оставшись без всяких средств, он прибегнул к занятию, которое позволяло ему предаваться праздности. Однажды вечером, проходя по улице Бак, перед меняльной лавкой, он разбил оконное стекло и, схватив вазу, полную золотых монет, скрылся. В ту же минуту раздается крик: «караул! воры», и за ним пускаются в погоню. Услыхав суматоху, Депланк удваивает скорость, он уже почти вне опасности, но вдруг на углу улицы он попадает в объятия двух агентов, своих старинных товарищей — роковая встреча. Он старается высвободиться — тщетные усилия; сыщики уводят его к комиссару, где немедленно его подвергают обыску и уличают с явными вещественными доказательствами. Депланк был рецидивистом; его приговорили к каторжным работам на вечные времена — он еще и теперь находится в тулонских галерах.

Люди, имеющие претензию судить обо всем голословно, не убедившись фактами, утверждают, что агенты, вышедшие из касты воров, необходимо должны поддерживать с ворами дальнейшие сношения или, по крайней мере, щадить их до тех пор, пока они сами не попадут на огонь. Я со своей стороны могу засвидетельствовать, что у воров нет беспощаднее противников, нежели освобожденные арестанты, ставшие под знамя полиции; эти люди, подобно всем перебежчикам, никогда не обнаруживают такого усердия, как в том случае, когда требуется услужить приятелю, т. е. арестовать бывшего товарища. Вообще, всякий вор, считающий себя исправившимся, безжалостен по отношению ко старинным собратьям; чем более он был отважен в былое время, тем более он неумолим к чужой вина.

Однажды трое воров — Серф, Маколейн и Дорлэ были приведены в полицейское бюро по обвинению в мошенничестве; увидев их, старинный товарищ по ремеслу и закадычный друг их Коко-Лакур, придя в благородное негодование, встает и обращается к Дорлэ со словами:

Лакур. Так вот как, господин негодяй, вы так-таки решительно не намерены исправиться?

Дорлэ. Я вас не понимаю, г. Коко, нравственность…

Лакур (вне себя). Как вы смеете называть меня Коко? Знайте, что это вовсе не мое имя, меня зовут Лакур, да, слышите ли, Лакур…

Дорлэ. Ах Боже мой, это мне хорошо известно, но разве вы не помните, что когда мы были товарищами, вы очень любили это имя и друзья называли вас не иначе. Ведь правда, Серф?

Серф. На свете нет более невинных младенцев, господин Лакур! Все туда же лезут.

Лакур. Ну ладно, ладно. Иные времена, иные нравы. Castigat ridendo mores; я знаю, что во времена своей молодости я не раз заблуждался, но…

Лакур тщетно старался ловкими фразами, в которые он то и дело примешивал слово «честь», выпутаться из своего затруднительного положения. Дорлэ не был расположен выслушивать его нотаций и поспешил зажать ему рот, напомнив об известных ему случаях, когда они работали вместе. Не раз Лакуру приходилось подвергаться такого рода неприятностям; если ему случалось упрекать воров в упорной привычке к воровству, в награду за свои добрые намерения он всегда получал одни дерзости.

Глава тридцать вторая

Желаю здравствовать! — Сплетни и пререкания. — Большой заговор. — Я невинен. — Доблестная и правдивая история знаменитого Видока. — Его смерть в 1875 году

Достигнув высокой должности начальника охранительной полиции, мне уже не приходилось более ограждать себя от капканов и западней, в которые меня старались вовлечь. Время испытаний миновало; но я должен был остерегаться мелочной зависти некоторых из моих подчиненных, которые точили зубы на мой пост и употребляли все свои усилия, чтобы сместить меня. Коко-Лакур был одним из тех, кто более всех старался в одно и то же время окружать меня лестью и вредить мне. Я уверен был, что этот хитрый человек был способен воротиться за пятьдесят шагов и опрокинуть за собой все стулья в церкви, если бы случайно услыхал, что я чихнул, для того только, чтобы медовым голосом «пожелать мне долгого здравия», но тем не менее я знал, «что в тихом омуте черти водятся». Я никогда не ошибался в свойстве и целях этих ухаживаний и внимания со стороны людей, которые падают перед вами ниц, когда в сущности им достаточно только наклонить голову. Но так как я сознавал свой долг, то мне было решительно все равно, искренни ли эти проявления лицемерной преданности или ложны. Не проходило ни одного дня, чтобы мои «мухи» не являлись ко мне с доносом о совещаниях, происходивших по поводу моей особы под председательством Коко-Лакура; как говорят, он замышлял свергнуть меня, и образовалась партия, участвовавшая в его заговоре — для них я был тираном, которого необходимо было свергнуть. Сначала заговорщики ограничивались тем, что поднимали шум из-за всякой безделицы; постоянно имея в виду мое падение, они находили удовольствие предсказывать его Друг другу, и каждый из них по-своему разделял заранее наследство. Не знаю, доставалось ли это наследство

самому достойному, но мне хорошо известно, что мой преемник не щадил усилий и употреблял более или менее ловкие происки, чтобы заявить себя моим кандидатом до моего удаления.

От сплетен и каверз Лакур и его клевреты перешли к более существенным действиям; перед наступлением сессии суда, в которой должны были судиться Пейуа, Леблан, Верделе и Лефбюр по обвинению в краже со взломом при помощи отвертки и «помады» (долота), распространился слух, что я накануне катастрофы и что по всей вероятности мне не удастся выйти сухим из воды.

Это пророчество, пущенное в ход во всех кабаках, соседних с судебной палатой, было также доведено до моего сведения; но я обратил на него не больше внимания, чем на остальные, также не исполнившиеся; только мне показалось, что Лакур удвоил свое ухаживание за мной и стал подлипать ко мне пуще прежнего: он клялся мне с особенным почтением и чувством; глаза его при этом тщательно старались избегать моего взгляда. В то же время я заметил, что трое других из моих агентов — Кретьен, Ютинэ и Декостар — удвоили усердие и предупредительность. Это не могло не удивить меня; я знал, что эти господа имели частые совещания с Лакуром. Не стараясь ни малейшим образом следить за их поведением по отношению к моей личности, тем не менее я сам заметил, что они шепчутся и что речь идет обо мне. Однажды вечером, проходя по двору Св. Часовни (они не уважали даже святыни), я услышал, как один из них радовался, что я попадусь в «капкан». Какой это капкан — я не имел об этом никакого понятия. Но когда Пейуа и его сообщники предстали перед судом, я убедился, что против меня была направлена адская махинация, стремящаяся выставить меня главным зачинщиком преступления, в котором они обвинялись. Пейуа заявил, что когда он обратился ко мне с просьбой указать ему вербовщика, который мог бы поставить

вместо него рекрута, я будто бы предложил ему воровать для меня и даже дал ему три франка на покупку лома, с которым его накрыли у Лаботи. Бертеле и Лефбюр подтвердили показания Пейуа, и один виноторговец Леблан, также замешанный в этом деле и, по-видимому, бывший главным зачинщиком преступления, — поощрял их в их системе защиты, с помощью которой им непременно удалось бы оправдаться. Адвокаты, защищавшие подсудимых, старались извлечь все возможное из этого мнимого обвинения, чтобы все приписать мне, и им удалось посеять в воображении судей и публики сильное предубеждение и подозрение против меня. Тогда я счел необходимым оправдаться и в сознании своей невинности просил г. префекта снарядить следствие с целью удостовериться в истине.

Пейуа, Бертеле и Лефбюр были осуждены; я полагал, что, не имея более никакой выгоды поддерживать эту наглую ложь, они наконец сознаются, что оклеветали меня и что, кроме того, если они действовали так по чьему-нибудь наущению, то они без сомнения назовут виновников обмана, который они так смело поддерживали на суде. Префект приказал снарядить следствие, и ведение его было поручено полицейскому комиссару Флериесу, как вдруг совершенно неожиданный документ послужил первым доказательством моей невинности. Это было письмо Бертеле к виноторговцу Леблану, который был признан виновным. Привожу здесь это безграмотное послание, чтобы показать, к чему сводились обвинения, которые мои враги не переставали возводить на меня во все время моей службы при полиции. Вот это письмо, которое я привожу, не изменяя орфографии.

Господину

Блану, виноторговцу, живущему близ заставы Комба, на бульваре Шопинет.

Милостивый Государь Пишу вам это письмо, желая осведомится о состоянеи вашего здравия и в тоже время преду-

предит вас, что мы осуждены. Вы не можети себе представит мое печальное положение. Поетому имею честь уведомит вас, что если вы нас оставите без внимания, то я донесу на вас, за то, што вы доставили нам лом, вам известно, што мы об етом скрыли на суде, обвинив в этом деле начальника полиции в действительности невинного. Вам также не безызвесны обещания, данные мне вами в вашей комнате, с тем только, чтобы я поддержал вас на суде; Поетому, если вы нас покинете, то я не буду вас щитать человеком после всех вашых прекрасных обещаний.

Вспомните, что правосудие не теряет своих прав и я мок бы вас привлечь к…

Вы можети ничего не опасатца если тайно передадите…

«Бертеле».

По существующему обычаю, письмо это, которое должно было быть передано тайно, было отдано тюремщику, и тот, вскрыв его, немедленно довел до сведения полицейской префектуры. Леблан, вследствие этого, не мог прийти на помощь к Бертеле; тот потерял терпение и для приведения в исполнение своих угроз написал мне из Консьержери другое письмо, следующего содержания:

29 сентября 1823 года.

Милостивый Государь,

На основании прений в суде присяжных и резюме г. председателя, обвиняющего Вас в том што Вы доставили суму в три франка На покубку инструмента для взлома двери г. Лабати, — все это на основании ложного Показанья Пеуа, — Я Бертелэ в присудствии Властей желаю показат всю правду и заявит О Вашей Невиности. Поетому я намерен заявит, 1) где куплен лом, 2) из чьего дома я получил ее и 3) имя лица, доставившего ее.

«Бертеле».

Ниже: «Адабряю написанное выше».

Ниже была приложена тюремная печать и заметка, сделанная рукой начальника Консьержери…

«все написанное выше и подпись действительно принадлежат Бертеле».

«Егли».

Бертеле, допрошенный Флериесом, показал, что лом стоил сорок четыре су, что он был куплен в фобурге Тампля у старьевщика и что Леблан, узнав о том, для чего этот лом понадобится, дал денег на покупку его. «Когда торг был заключен, — продолжал Бертеле, — Леблан, оставшийся немного позади, сказал мне: если тебя спросят, что ты намерен делать с ломом, — скажи, что ты гранильщик и что тебе он нужен для поправки колеса. Если у тебя потребуют твои бумаги, ты приходи ко мне, и я скажу, что ты мой подмастерье. Я вернулся к нему с ломом в руках, он взял его у меня и спрятал под сюртук, чтобы никто его не видел. Придя домой, он первым долгом полез в погреб и спрятал там наш инструмент. В тот же вечер, напившись порядком, мы, т. е. Лефбюр, Пейуа и я, отправились в ротонду Тампля и оттуда в узенькую улицу, названия которой я не знаю. Пока мы с Лефбюром сторожили, Пейуа сделал тридцать три дырочки с помощью буравчика в ставне одной белошвейки. Вдруг нож, которым Пейуа делал разрезы между дырками, сломался, и мы, потерпев неудачу, удалились. Затем мы пошли на рынок Св. Евстафия, и там Пейуа, с помощью долота, пытался взломать дверь одной галантерейной лавки. Но кто-то изнутри спросил нас, чего нам нужно, и мы поспешили убежать; тогда было около двух часов пополуночи. Мы все трое отправились в гостиницу «Англия», где Пейуа отдал хозяйке бывший с ним дождевой зонтик.

Перед тем как войти в гостиницу, Пейуа отдал лом, завернутый в мешок, одной торговке, продававшей кофе на открытом воздухе возле Пале-Рояля. Около пяти часов утра мы

вышли из гостиницы «Англия», и Пейуа взял у торговки лом, который давал ей на сохранение. Я должен прибавить, что женщина эта не знала, что заключалось в мешке. Пейуа отправился к Блану, взяв лом с собой. Лефбюр и я уже не расставались и вернулись к Блану в пять часов и остались там до десяти вечера. Леблан дал мне огниво и огарок на всякий случай. Я даже в виде развлечения выскоблил на огниве Л, начальную букву имени Леблана. Пейуа, Лефбюр и я вышли все вместе. Пейуа взял лом с собою, а потом отдал его нам. На пути он остановился и зашел в меблированные комнаты с одной женщиной, Виктуар Биган, а мы с Лефбюром отправились на экспедицию к Лабати, за что и судились. Лом и часть украденных вещей были препровождены Лефбюром в дом Леблана.

Леблан, преданный суду вместе с нами, умолял меня выгородить его, а Пейуа должен был показать, что три франка на покупку лома были даны ему г. Видоком. Он тоже посулил мне известную сумму денег, если только я соглашусь показать то же самое. Я согласился, опасаясь, что еще больше испорчу свое дело, показав сущую правду». (Показание, сделанное 3 октября 1823 г.).

Лефбюр, подвергнутый допросу после него, подтвердил его показание, что касается Леблана.

— Если я и не показал, — прибавил он, — что Леблан доставил деньги за покупку лома, то это потому только, что Пейуа подговорил меня сказать, что его купил сам он, Пейуа, на том основании, что он был уже достаточно скомпрометирован в этом деле и не хотел замешивать в нем Леблана, который мог ему помочь и сделать добро впоследствии.

Некто Егли, начальник служащих при Консьержери, и двое арестантов, Лекот и Вермов, на допросе объявили Флериесу, что слышали, как Вертеле, Лефбюр и Пейуа сознавались, что обвинили меня совершенно напрасно. Все арестанты единогласно показывали, что я всегда старался уговорить их

не делать зла. Кроме того, Вермон рассказал, что однажды, когда он стал упрекать их в том, что они без всякой причины скомпрометировали меня, они на это отвечали: да плюем мы на все это… мы рады были бы скомпрометировать отца родного, лишь бы только выпутаться из беды; скверно только, что это дельце не удалось как следует.

Пейуа, младший по летам из остальных подсудимых, показывал менее откровенно и искренно, чем они; дружба его к Леблану заставила его сначала скрыть долю истины; впрочем, он не мог не сознаться, что я был совершенно чужд покупки лома.

«Во все время судебного следствия, предшествовавшего суду, — сказал он, — и во время прений я не переставал утверждать, что г. Видок дал мне три франка на покупку лома, с помощью которого была совершена покража. Я настаивал на своих словах в надежде, что это может смягчить и облегчить наказание. Я прибегнул к этому средству по совету некоторых заключенных. Но теперь долг справедливости обязывает меня заявить, что г. Видок вовсе не давал мне денег на покупку лома; инструмент этот стоил мне сорок четыре су, и я приобрел его у старьевщика, имеющего лавку в первом переулке направо от улицы Арсис, со стороны моста Нотр-Дам. Я не знаю имени старьевщика, но я сейчас узнаю его лавку; она вторая направо от угла. Покупку эту я сделал 6 или 8 марта, не помню хорошенько. В это время в лавке находились хозяин и его жена; мне в первый раз случилось покупать у них».

Три дня спустя Пейуа, препровожденный в Бисетр, написал начальнику второго отделения полицейской префектуры письмо, в котором признавался, что желает покаяться со всей искренностью; на этот раз истина будет обнаружена вполне: Ютине, Кретьен, Декостар и Коко-Лакур, явившиеся в суд с целью дать ложные показания, были вполне обличены. Всем стало ясно, что не кто иной, как Кретьен руководил интригой,

имевшей целью удалить меня из полиции. Заявление, полученное мэром Жантильи, бросило яркий свет на эту махинацию, от которой Лакур, Кретьен, Декостар и Ютине ожидали полного успеха. Они подослали ко мне Пейуа, явившегося якобы для того, чтобы я указал ему вербовщика, которому понадобился бы кто-нибудь, чтобы заместить рекрута; они же подговорили Вертеле прийти в мое бюро и заявить о некоторых подготовляющихся, покражах. Таким образом, для поддержки обвинения, с помощью которого они надеялись задавить, уничтожить меня, они соорудили целое здание кажущихся улик на основании моих постоянных сношений с ворами. Судя по всем признакам, можно заключить, что они часто смотрели сквозь пальцы на экспедиции Пейуа и его приятелей, под условием, что в случае, если их накроют на месте преступления, они могут принять систему защиты, сообразную с их интересами. Не существовало ни малейших следов подобной сделки, но она состоялась непременно, и я не мог в этом сомневаться ни минуты, благодаря сведениям и наблюдениям моих агентов перед разбирательством дела и даже после осуждения виновных. Когда Пейуа был арестован, Ютине и Кретьен немедленно отправились к нему в острог и имели с ним разговор, в котором уверяли его, что можно придать благоприятный оборот делу не иначе, как обвинив меня; что ему для этого стоит только признать их свидетелями; что они охотно готовы поддержать его показания, в свою очередь покажут в том же смысле и даже скажут, что видели, как я ему вручал сумму в три франка. Агенты не ограничились одними советами; чтобы быть уверенными на всякий случай, что Пейуа не пойдет на попятный двор, они уверили его, что у них есть могущественный покровитель, влияние которого оградит его от всякой беды, и что, наконец, если обвинительный приговор окажется необходимым, то это сановное лицо настолько могущественно, что уничтожит его действие.

Когда начались прения, Ютине, Кретьен, Лакур и Декостар поспешили подтвердить на суде обвинения, возведенные на меня Пейуа. Между тем над молодым человеком, которому они посулили безнаказанность, был произнесен обвинительный вердикт; опасаясь, чтобы он, сознав свое положение, не разоблачил их коварные замыслы, они старались воодушевить его, снова пробудить в нем надежду. Для этого они не только настаивали, чтобы он подал кассацию, но даже предложили ему защитника на свой счет и обязались уплатить все расходы по ведению процесса.

Эти интриганы добрались и до матери Пейуа, и ей они стали делать подобные же предложения и обещания.

Лакур, Декостар и Кретьен увлекли ее к сьеру Базилю, виноторговцу на площади здания суда, и там за бутылкой вина пустили в ход все свое красноречие, силясь доказать старухе Пейуа, что если она поможет им и ее сын будет покорен и послушен, то им легко будет спасти его. «Будьте спокойны, — сказал ей Кретьен, — мы уж сделаем все, что будет нужно».

Вот что выяснилось из следствия; судьям стало очевидно, что эпизод с ломом, доставленным якобы Видоком, не более как вымысел господ агентов; с той поры на эту тему ходило столько разнообразных и неправдоподобных россказней, более или менее забавных, что можно было бы составить из них целую книгу и прибавить ее к коллекции библиотеки странствующих разносчиков, под заглавием «Доблестная история подвигов, деяний и достопамятных, необычайных и удивительных приключений господина Видока, с приложением портрета этого великого сыщика, представленного в натуральном виде, каким он был до своей смерти, последовавшей без приключений в день его кончины, в его доме в Сен-Манде, в полночь двадцать второго июля 1875 года».

Глава тридцать третья

Эхо Иерусалимской улицы. — Везде Видок. — Остракизм и раковины. — Я создаю воров. — Хаос и сотворение мира. — Приличное одеяние. — Высший тон. — Война с современными. — Кулинарное искусство. — Кошачий хвост. — Рибулэ и белокурая Маша. — Гостеприимство. — Дети Солнца

Прошу извинения у читателя, что так долго говорил о своих треволнениях и о мелких дрязгах моих агентов; я желал бы избавить вас от скучной главы, касающейся исключительно моей репутации; но прежде, нежели идти дальше, мне хотелось высказать все, что у меня на душе, и доказать, что не всегда можно придавать веру сплетням, распускаемым моими врагами. Чего только ни придумывали шпионы, сыщики, воры и мошенники, которые одинаково были заинтересованы в том, чтобы удалить меня из полиции?

— Такой-то влопался! — объявлял один их приятель своей жене, возвращаясь на ночлег.

— Быть не может!

— Верное слово.

— Кто же тут постарался?

— Стоит ли спрашивать? Конечно, эта сволочь Видок.

Встречались ли два дельца, которых немало в Париже, один из них восклицал:

— Не знаешь новости? Этот бедняжка Гариссон попался и сидит в остроге.

— Ты шутишь?

— Хорошо, кабы шутил: он только что приготовился сбыть часть товару, и я должен был получить часть барыша за комиссию: не тут-то было, знать, сам черт подшутил, накрыли ведь с поклажей!

— Кем же был он арестован?

— Да кем?.. Конечно, Видоком.

— Ах он подлец!

Объявляли ли об аресте важного преступника в бюро префектуры, или мне случалось захватить какого-нибудь продувного мошенника, след которого агенты никак не могли отыскать, сейчас раздавался хор завистливых голосов: «Все этот проклятый Видок!». Среди всего полицейского люда по этому поводу шли бесконечные толки и сетования; вдоль всей Иерусалимской улицы, из кабака в кабак, как эхо, повторялись завистливые слова: все Видок! везде один Видок! И это ненавистное имя звучало в их ушах неприятнее, нежели в ушах афинян прозвище «Справедливого», данное Аристиду. Как счастлива была бы эта шайка воров, карманников и шпионов, если бы воскресили ради них старый закон остракизма, для того, чтобы дать им возможность избавиться от моей докучливой особы. С какой радостью они воспользовались бы своими раковинами; но помимо заговоров вроде того, от которого г. Коко и его сообщники ожидали такого счастливого исхода, что могли они сделать? Их заставляли молчать одним словом.

— Посмотрите на Видока, — говорило начальство, — берите с него пример. Какую деятельность он проявляет! Вечно он на ногах, и днем и ночью, и спать-то ему некогда. Если бы нашлось три-четыре таких человека, как он, то можно было бы смело ручаться за безопасность всей столицы.

Эти похвалы до крайности раздражали моих вялых соперников, но не побуждали их взяться за дело. Если они и сбрасывали с себя сонливость, то не иначе, как за бутылкой, и вместо того, чтобы спешить без оглядки, куда призывал их долг, они составляли маленькие кружки и забавлялись тем, что разбирали меня по косточкам.

— Нет, он просто невозможен, — говорил один из собеседников, — чтобы так ловко опутывать воров, надо иметь с ними сношения.

— Черт возьми, — прибавлял другой, — он сам же их науськивает и чужими руками жар загребает.

— О, он продувная шельма! — замечал третий. Наконец кто-нибудь довершал приговор докторальным тоном:

— Если нет воров, так он создает их.

Не думаю, чтобы между читателями этих записок нашелся хоть один, который бы ступил ногой к Гильотену. Я говорю о скромном кабатчике, лавочка которого, пользовавшаяся известностью среди воров низшего разбора, находилась против клоаки Дюнойе, которую посетители прозвали «Большим залом Куртиль».

Какой-нибудь рабочий, еще не совсем потерявший честь и совесть, еще может рискнуть зайти к дядюшке Дюнойе. Если он малый расторопный и не даст себе класть пальца в рот, то он еще может выйти оттуда, поплатившись только несколькими тумаками и не заплатив ни за кого из своих собеседников. Но у Гильотена он не так-то легко отделается, в особенности, если войдет туда в приличной одежде и с туго набитым кошельком.

Представьте себе квадратный зал, довольно просторный, со стенами когда-то выбеленными, но теперь закоптившимися и покрытыми грязью. Вот каков был вид этого храма, посвященного Бахусу и Терпсихоре. Прежде всего, вследствие оптического обмана, довольно понятного, вас поражает теснота помещения, но когда глаз проникнет сквозь густой туман зловонных испарений, то оказывается, что пространство вовсе не так мало. Когда пары рассеиваются, из облаков дыма выясняются движущиеся образы, — это уже не призраки, а живые существа, переплетающиеся в различных направлениях. Какая развеселая жизнь, какое блаженство! Никогда эпикурейцам не приходилось наслаждаться такими благами! Какая отрада для тех, кто любит погружаться в грязь по самое горло! Вы видите несколько рядов столов, которые никто никогда не вытирает и на которых в течение дня совершается сотня самых отвратительных возлияний, столики окаймляют кругом пространство, предназначенное для танцев. В глубине

этого зловонного вертепа возвышается поддерживаемая четырьмя полусгнившими столбами ветхая эстрада, устроенная из барачного леса и до половины покрытая лохмотьями старого ковра. На этом курином насесте приютилась музыка: два кларнета, звучный тромбон, оглушительный барабан — вот четыре инструмента, управляемых костылем господина Дубль-Кроша, маленького хромого старичка, величающего себя дирижером оркестра и дающего темп раздирающим уши аккордам. Здесь все гармонирует между собою: лица, костюмы, блюда, которые подаются на стол. Здесь нет прихожей, где бы складывались палки, зонтики и пальто. Вы можете войти со всеми своими пожитками, никто вас не осудит. Здесь все бесцеремонно; женщины причесаны a la chien или повязаны платочками, словом, кто как хочет. Каких тут только костюмов не увидишь! Мужчины большею частью в куртках с отложным воротником — если есть рубашка, которая, впрочем, почти обязательна, панталон можно и не иметь. Верхом бонтонности считается полицейская шапка, гусарский доломан, егерские сапоги, панталоны уланские, словом, костюм составленный из старого тряпья трехчетырех полков. Всякий молодец закостюмированный в таком роде, может быть уверен победить дамские сердца: до того они обожают военных и имеют слабость к пестрым костюмам. Но ничто им так не нравится, как красные шаровары с высокими сапогами. В этих собраниях редко можно встретить войлочную шляпу, у которой не были бы оторваны поля или вырвано дно; никто не упомнит, чтобы встретил когданибудь фрак, а кто имел несчастье показаться в сюртуке, тот мог быть уверен, что вернется домой в одном жилете, разве только он обычный посетитель притона. Напрасно стал бы он молить о своих фалдах, они оскорбляют зрение честной компании; счастлив он, если оставит всего одну полу в руках этой милой молодежи, которая во все горло вопит известный характеристический припев:

Laissez moi donc, je veux m'enaller
Tout débiné z' à la Courtille
Laissez moi donc j'veux m'enaller
Tout débiné chez Denoyers.

У Дюнойе притон всякой сволочи, но прежде чем вступить через порог Гильотеновского кабака, сама сволочь призадумается, так что в этом вертепе можно видеть только публичных женщин и их содержателей, всякого рода мошенников, первостатейных карманников и немало ночных буянов, отчаянных бродяг, посвятивших всю свою жизнь скандалам и воровству. Само собою разумеется, что в этом прелестном обществе единственное употребительное наречие — воровской язык, или так называемая «музыка». Это почти всегда испорченный французский, до того не похожий на обыкновенный, что ни один член общества сорока не мог бы похвастаться, что понимает хоть одно слово; между тем среди обычных посетителей Гильотена были свои пуристы. Они уверяли, что этот арго, или воровской язык, ведет свое начало с Востока, и не воображая, что у них кто-либо подумает оспаривать знания восточных языков. Если бы я был охотник до языковедения, то я мог бы воспользоваться случаем для любопытных исследований и, может быть, составил бы целую ученую диссертацию, но теперь не до того. Вернемся к начатой мной картине и описанию эдема скандалистов и любителей ночных оргий.

У Гильотена не только пьют, но и едят, и небезынтересно разоблачить маленькие тайны его кухни. У старика Гильотена не было мясника, он справлялся собственными средствами. В его медных кастрюлях, нелуженных и покрытых зеленоватым осадком, конина превращается в говяжье филе, ляжки собаки, казненной в улице Генегар, преобразуются в бараньи котлеты, и пикантный соус придает аппетитный вид какой-нибудь поджарой кошке. В этой стране волшебных превращений заяц не пользуется правом гражданства: он уступил

место кролику, а кролик превратился в… крысу — o Zortunati; nimium si… noriut. Прошу не прогневаться — цитата не моя… Мне скажут, что это по латыни, быть может, это и по-гречески или по-еврейски — мне до этого дела нет, но если бы крысы видели то, что я видел, то они бы воздвигли памятник своему почитателю Гильотену.

Однажды вечером, находясь у Гильотена и почувствовав настоятельную потребность, я встаю и отправляюсь на воздух. Отворив какую-то дверь, я очутился во дворе. Место удобное, я подвигаюсь вперед ощупью, вдруг спотыкаюсь — вероятно, в этом месте переделывали мостовую. Протянув руки вперед, стараясь удержаться, я хватаюсь одной рукой за тумбу, а другой за что-то мягкое, шелковистое. Я убеждаюсь, что это спинной хребет четвероногого. Подняв руки кверху, я чувствую, что в ней осталась охапка бренных останков живого существа, с которыми я возвращаюсь в зал в ту минуту, когда Дубль-Крош из себя выходит, дирижируя отчаянными танцорами.

Конечно, публика рада была случаю позабавиться; в зале раздалось протяжное мяуканье; любители кошачьего фрикасе вторили мяуканью взапуски. Надвинув на ухо свои картузы, они кричали: кошками нас кормят, кошачьими шкурами одевают, и прекрасно; слава Богу еще, что кошачья порода не перевелась.

Дядюшка Гильотен не слишком-то мог разжиться от своих клиентов; впрочем, мне приходилось в свое время видеть в этом кабаке пирушки, которые едва ли стоили бы меньше Caze Riche, или в каком-нибудь первоклассном ресторане. Помнится мне, что шесть человек, в том числе Дрианкур, Вилат, Питру и другие, нашли возможным истратить там 160 франков в один вечер. Конечно, каждый из них привел с собою свою нежную половину.

Хозяин, вероятно, поживился на их счет, но они и не жаловались, не сделали даже ни малейшего замечания и заплатили по-княжески, не забыв дать на водку гарсону. Я арестовал их в

минуту, когда они платили по счету, даже не рассмотрев его. Воры щедры и великодушны, когда им повезет счастье. Эти люди недавно совершили несколько значительных покраж, за которые несут теперь наказание в галерах.

Трудно поверить, чтобы в самом центре цивилизации мог существовать такой притон, такое безобразное логовище, как заведение Гильотена. Мужчины и женщины курили и плясали все вместе, трубка переходила из одного рта в другой, и считалось даже большей любезностью предложить какой-нибудь нимфе, явившейся на рандеву, «чернослива», т. е. жевательного табаку, уже пережеванного или нет, смотря по степени фамильярности.

Полицейские офицеры и инспектора считали себя слишком большими господами, чтобы толкаться среди такой ужасной публики; напротив того, они тщательно держались от нее в стороне, даже мне самому она опротивела до омерзения, но я был убежден, что для того, чтобы отыскать и накрыть преступника, — нельзя ожидать, пока он сам бросится в ваши объятия. Поэтому я покорился необходимости отыскивать их самому и, чтобы не предпринимать бесцельных экспедиций, постарался в особенности узнать, какие места они охотнее всего посещают, и потом уже, как опытный рыболов, закидывал свою удочку наверняка. Я не терял времени, желая, как говорится, найти иголку в стоге сена. Дело в том, что сыщик, желающий с пользой работать над истреблением воров, должен по возможности жить с ними, проводить с ними время и улавливать всякий удобный случай, чтобы навлечь на них кару правосудия. Так я и делал, а мои собратья называли это — создавать воров; этим путем я создал их немало со времени моего дебюта в полиции. Однажды вечером, зимою 1811 года, у меня явилось предчувствие, что мое посещение к Гильотену увенчается успехом. Не отличаясь суеверием, я, однако, всегда повиновался подобным предчувствиям, и вот, осмотрев свой гардероб, я принарядился так, чтобы меня не могли счесть

за «франта», и отправился из дому в сопровождении тайного агента Рибулэ, разбитного малого, которого обожали все кабацкие гурии, хотя сам он больше клонился на сторону бумагопрядильщиц, которые также очень благосклонно относились к нему. Для проектируемой экспедиции женщина была необходимой принадлежностью. Рибулэ имел под рукой подходящую — это была его постоянная любовница, публичная женщина, прозванная «белокурой Машей». В одну минуту она снарядилась в путь, подтянула свои шерстяные чулки, перетянула талию своего пунцового платья, накинула на плечи серую шаль с белой каймой, поправила волосы и ловким движением сбила набок косынку, покрывавшую ее голову, что придало ей шаловливый и кокетливый вид. Маша была в восторге идти под ручку с двумя кавалерами. Мы отправились в Куртиль. Войдя в кабак, мы скромно уселись в углу зала, чтобы иметь возможность на свободе рассмотреть окружающее. Рибулэ был один из тех людей, которые невольно внушают уважение, и мы еще не успели разинуть рта, как нам принесли, чего мы желали.

— Видишь ли, — сказал он, — халдей-то (лакей) выдрессирован, знает, с кем имеет дело.

Мы все трое принялись за еду с таким аппетитом, будто и не имели понятия о маленьких тайнах дядюшки Гильотена.

Во время этой трапезы около входной двери послышался шум, привлекший наше внимание. В заведение торжественно вступали герои-победители — шесть человек, мужчин и женщин, три парочки — не имевшие образа и подобия человеческого; у всех были исцарапанные лица, подбитые глаза и синяки на скулах. Беспорядок их одежды, свежие еще ушибы ясно доказывали, что они совершили какой-нибудь геройский подвиг, причем тумаки летели во все стороны без разбору. Они подошли к нашему столу.

Один из героев. Извините, друзья!.. найдется у вас местечко или нет?

Я. Это нас немного стеснит, да уж делать нечего, можно потесниться…

Рибулэ (обращаясь ко мне). Ну, приятель, пусти нас к столу, мы добрые малые.

Маша (обращаясь ко вновь прибывшим). Эти дамы тоже принадлежат к вашему обществу?

Одна из героинь. Что, что такое? Господа, что она там бормочет?

Ее герой. Попридержи глотку, Титана… она не желает оскорбить тебя.

Компания усаживается.

Один из героев. Эй, поди сюда, дядя Гильотен, давай нам чернушку в восемь Жаков (бутыль в четыре литра, по восьми су).

Гильотен. Сейчас, сейчас.

Гарсон (с бутылью в руке). Пожалуйте тридцать два су.

— Не хочешь ли тридцать две фиги… уж не думаешь ли, что мы хотим околпачить (обмануть) тебя?

Гарсон. Нет, ребята, успокойтесь, такой у нас уж обычай ведется.

Вино разливают в стаканы, нас также не забывают.

— Извините за смелость, — прибавил один из них.

— Тут нет никакой беды, — ответил Рибулэ.

— Знаете, ведь одна учтивость вызывает другую.

— Итак, будем пить во здравие!

— Так, ты верно сказал, не мешает назюзюкаться. И действительно, мы нализались до того, что к десяти часам вечера выражали друг другу свою взаимную симпатию в уверениях горячей дружбы и в порывах восторженной нежности, присущей пьяным.

Когда наступило время расставаться, наши новые знакомые, и в особенности женщины, были в состоянии полного опьянения. Рибулэ и его любовница были только навеселе, но чтобы не портить общего впечатления, мы делали вид, что

не можем двинуться с места. Сплотившись в кучку, — таким образом не так сильно шатает по сторонам, — мы направились вон с пристанища наших наслаждений.

Чтобы придать мужества нашему шаткому батальону, Рибулэ могучим голосом, на самом чистом арго доброго старого времени, затянул длинную балладу воровской братии. Долго тянул он бесконечную песню, наконец окончил; Маша в свою очередь хотела угостить нас своим уменьем.

— Не спеть ли вам, ребята, песенку, которую я выучила в Сен-Лазаре; а вы, чур, слушать и подхватывать за мной припевы.

Мы не отставали от певуньи. Финал ее длинной песни, который мы дружно подхватили за Машей, прежде нежели она успела пропеть его до конца, был повторен восемь раз зычным голосом, так что во всем квартале стекла задрожали. После этого порыва вакхической веселости первые винные пары понемногу рассеялись, и мы принялись за разговоры. Доверчивые излияния по обыкновению начались в виде допроса. Я не заставлял себя просить и, напротив, старался предупреждать любопытные вопросы; я рассказал, что в Париже живу проездом, временно, познакомился с Рибулэ еще в провинции, в Валансьенской тюрьме, куда его привели как дезертира. К довершению всего я постарался изобразить себя в ярких красках, которые очаровали моих собеседников. О, я был отъявленным, продувным молодцом. На что только я не был способен! Чего только я не сделал на своем веку! Я выложил пред ними все свои грехи, чтобы и с их стороны вызвать откровенность; это была тактика, которая часто удавалась мне. Скоро мои приятели затараторили, как сороки, и я узнал всю их подноготную до таких подробностей, будто мы никогда и не расставались. Они сообщили мне свои имена, свое местожительство, свои подвиги, свои неудачи и надежды. Право, казалось, они нашли человека достойного их доверия, видно я уж очень пришелся им по сердцу.

Подобные объяснения и излияния в известной степени истощают силы, и мы не пропустили, кажется, ни одного кабака, которые встречали на своем пути. Бесчисленное множество стаканов было выпито в честь нашей новой дружбы: мы поклялись более не расставаться.

— Пойдем с нами, — приставали они ко мне. — Просьбы их были до того настойчивы, что я не мог не согласиться проводить их в улицу Филь-Дие, № 14, где они жили в меблированных комнатах.

Раз забравшись в их трущобу, я не мог не разделить их постели; трудно себе представить их ласковость и добродушие. Я тоже не отставал от них, и они были вполне уверены в моих добрых качествах, тем более что, пока я притворялся спящим, кум Рибулэ вполголоса напропалую расхваливал им мою особу. Если бы половина того, что он наплел про меня, была правда, то я заслужил бы по крайней мере десять приговоров на пожизненную каторгу. Словом, я родился в сорочке и имел счастие отправить на тот свет по крайней мере целое поколение честных людей. Словом, Рибулэ так прекрасно отрекомендовал меня моим хозяевам, что на другой же день они благосклонно предложили мне участвовать с ними в экспедиции, которую замышляли в улице Верьери.

Я успел предупредить начальника второго отделения полиции, который принял свои меры, и голубчиков накрыли с узлами украденных вещей. Рибулэ и я были оставлены на стороже, чтобы в случае чего забить тревогу и главное, чтобы наблюдать за полицией. Позднее они были тем же порядком приговорены к каторге, и если имена Дюбюира, Ипполита и Риша до сих пор красуются в тюремных списках, то это благодаря тому, что я провел вечерок у Гильотена с «детьми Солнца».

Глава тридцать четвертая

Постоянный посетитель «Маленького стула». — Ограбленная комната. — Куча камней. — Ночное переселение. — Вор, добрый малый. — Мое первое посещение Бисетра. — Кое-что, чему можно ужаснуться. — Буря утихает

Часто воры попадались мне под руку и погибали совершенно для меня неожиданно; подумаешь, будто злой гений подучивал их явиться ко мне. Надо сознаться, что те, которые прямо лезли в волчью пасть, были или уж слишком смелы, или больно недалеки. Видя, с какой легкостью многие из них попадались в ловушку, я всегда удивлялся, как могли они избрать профессию, в которой необходимо столько предосторожностей для устранения опасностей. Некоторые из них были до того просты и добродушны, что я считал чудом, как это они пользовались безнаказанностью до той поры, пока не наткнулись на меня. Невероятно, чтобы, эти люди, будто нарочно созданные для того, чтобы попадаться в капканы, не были повешены до моего поступления в полицию. Неужели до меня полиция существовала на смех, или, может быть, мне необыкновенно благоприятствовала судьба? Как бы то ни было, были престранные случаи, об этом можно судить по следующему рассказу.

Однажды в сумерках, одетый рабочим, я спокойно сидел на набережной Жевр, как вдруг ко мне подошел один субъект, в котором я узнал обычного посетителя «Маленького стула» и «Доброго колодца», двух кабаков, пользовавшихся славой среди воров.

— Добрый вечер, Жан-Луи, — приветствовал меня мазурик.

— И тебе также, братец.

— На какого черта ты тут сидишь? Ты похож на мертвеца, просто испугаться можно.

— Что делать, старина! Когда издыхаешь от голоду, так смех не пойдет на ум. Какое уж тут веселье!

— Издыхать от голоду! Это уж чересчур, ведь ты у нас слывешь за «приятеля».

— А между тем это сущая правда.

— Полно, пойдем пропустим рюмочку-другую у Нигнака; у меня еще водится в кармане «кругляков» с двадцать, надо им протереть глаза.

Он повел меня в кабак, спросил поллитра вина и, оставив меня с минуту одного, вернулся с двумя фунтами печеного картофеля.

— Вот тебе угощенье, — сказал он, ставя на стол дымящееся блюдо, — ну чем не ананасы?

— Ананасы, да и только; мне бы вот еще соли.

— Соли! Ну, брат, сколько угодно, стоит недорого. Принесли и соли, и хотя час тому назад я отлично пообедал у Мартена, но с жадностью набросился на картофель, будто не ел целых два дня.

— Поглядеть на тебя, как ты ловко трескаешь своими жорами (зубами), можно подумать, что у тебя во рту говядина, а не что другое.

— Э, все равно, чем ни набить утробу…

— Верно говоришь, парень.

Я набивал себе рот с изумительной быстротой; чуть не давился своим картофелем; уж не знаю, как у меня не застряло в горле; никогда мой желудок не оказывался таким покладистым. Наконец я одолел свою порцию; когда я насытился, мой товарищ предложил мне трубку и обратился ко мне со следующими словами.

— Клянусь честью, так же верно, как меня зовут Массоном, я всегда смотрел на тебя, как на доброго парня. Я знаю, что у тебя было много несчастий на твоем веку, мне много об этом рассказывали, но ведь не все же тебя будет преследовать злополучный рок: коли хочешь, я могу тебе дать кое-что заработать.

— Это было бы не лишнее, черт возьми! Я отощал как щепка, пора бы поживиться кое-чем.

— Это правда, — сказал он, оглядывая с ног до головы мою ветхую, полуразорванную одежду, — сейчас видно, что тебе не везло. В таком случае ступай за мной, я хозяин одной каморки (я могу отпереть одну комнату) и намерен выполоскать (ограбить) ее сегодня же вечером.

— Ты мне сначала расскажи, в чем суть, не могу же я приняться за дело, не зная его.

— Какой ты, право, олух! Ну, на что тебе это нужно, когда ты будешь только караулить?

— О, если только это, так можешь рассчитывать на меня, только все-таки не лишнее мне сказать в двух словах…

— Говорят тебе, не беспокойся: план уже составлен мной заранее; тут есть у меня знакомая в двух шагах, она спрячет. Не успеем стырить (украсть), как пропулим (отдадим в надежные руки). Там жирно, ручаюсь тебе в этом.

— Жирно… вот это ладно. Ну, теперь в путь.

Массон повел меня по бульвару Сен-Дени; дошедши до большой кучи камней, мы остановились. Мой спутник оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что никто за нами не наблюдает, запустил руку между камней и вытащил оттуда связку ключей.

— Теперь у меня есть все, что нам нужно, наше дело в шляпе.

И мы вместе с ним направились к хлебному рынку. Добравшись до угла, он указал мне в недалеком расстоянии и почти против Гвардейских казарм тот дом, в который он предполагал забраться.

— Теперь, дружище, дальше ни-ни, подожди меня здесь и смотри, не зевать, а я пойду погляжу, убралась ли маруха (ушла ли женщина, нанимающая комнату).

Массон отворил дверь в коридор, и едва она успела за ним захлопнуться, как я побежал стремглав в участок и за-

явил, что подготовляется покража и что нельзя терять ни минуты времени, если желают накрыть вора с украденными вещами. Сообщив все, что знал, я поспешно вернулся на то место, где оставил меня Массон. Едва успел я прийти, как меня кто-то окликнул:

— Это ты, Жан-Луи?

— Да, я, — ответил я, удивленный, что он возвращается с пустыми руками.

— Уж и не говори! — воскликнул он. — Представь себе, какой-то черт — сосед помешал мне дело делать. Но время терпит, мы наверстаем потерянное. Одну минуту терпения, и ты посмотришь, не надо только компрометировать себя.

Скоро он опять оставил меня одного и не замедлил появиться, сгибаясь под тяжестью громадного узла. Он прошел мимо меня, не сказав ни слова. Я последовал за ним. В то же время за нами по пятам следили двое жандармов, стараясь делать как можно меньше шуму.

Важно было узнать, куда он намерен сложить свою ношу. Он вошел в улицу Фур, к торговке, прозванной «Мертвой головой», где оставался всего несколько минут. «Чертовски тяжело было тащить, — сказал он, выходя оттуда, — а мне еще предстоит немалое путешествие». Я не мешал ему орудовать; он снова взобрался в комнату, которую грабил, и по прошествии десяти минут сошел вниз, неся на голове всю кровать как есть: с матрасами, подушками и одеялами — он не имел времени складывать ее. На самом пороге он едва не повалился под тяжестью ноши: с одной стороны, ему мешала пройти слишком узкая дверь, с другой, — ему не хотелось выпустить из рук свою добычу. Но он сейчас же оправился и продолжал путь, сделав мне знак следовать за ним. На повороте улицы он приблизился ко мне и шепнул вполголоса:

— Мне кажется, я вернусь туда в третий раз; если хочешь, пойдем со мной наверх, ты мне поможешь отцепить полог у кровати да занавеси на окнах.

— Ладно, идем, — ответил я, — но когда спишь на таких пуховиках, как мы, пологи — роскошь.

Массон продолжал свой путь; но не успели мы пройти несколько шагов, как нас обоих остановили и повели к полицейскому комиссару, где подвергли допросу.

— Вас, как я вижу, двое, — сказал комиссар Массону. — Кто этот человек (указывая на меня), верно, такой же вор, как и ты?

— Кто он такой? Почем я знаю. Спросите у него самого, кто он такой. Когда я еще раз увижу его, да с этим разом — выйдет ровнехонько два.

— Вы не станете уверять меня, что вы действовали не сообща, вас застигли вместе.

— Тут вовсе ничего не было сообща, почтенный комиссар, он шел в одну сторону, я в другую. Только вдруг он подходит ко мне близко и задевает меня; я чувствую, что у меня что-то выскользнуло из рук, гляжу — это наволочка. Я и говорю ему: подыми, голубчик! Он и поднял, тут подоспели жандармы и нас обоих подхватили; лопни мои глаза, если это неправда. Спросите-ка лучше у него.

Сказка была недурно выдумана, я и не стал опровергать ее; напротив того, я подтвердил показание. Наконец комиссар, по-видимому, убедился.

— Есть у вас бумаги? — спросил он. Я представил вид на жительство, его нашли в полном порядке, и меня тотчас же объявили свободным. На лице Массона изобразилась сильная радость, когда он услышал обращенные ко мне слова: «Ступайте спать». Это была формула моего освобождения, и он так этому обрадовался, что надо было быть слепым, чтобы не заметить этого.

Вора держали в руках; теперь оставалось только захватить укрывательницу прежде, нежели она успела бы спровадить принятые ею вещи. Обыск состоялся немедленно, и, настигнутая среди вещественных доказательств своей вины, «Мерт-

вая голова» была арестована в ту минуту, когда она этого менее всего ожидала.

Массона отвели в депо полицейской префектуры. На другой день, согласно с обычаями, установленными у воров с незапамятных времен, когда их сообщник «попался», я послал ему круглый хлеб в четыре фунта, кусок ветчины и монету в один экю. Мне передали, что он был очень тронут этим вниманием, но еще не подозревал, что тот, кого он считал за сообщника, был причиной его беды. Он узнал только в остроге, что Жан-Луи и Видок были одно и то же лицо. Тогда он придумал престранный способ защиты; он стал утверждать, что я был виновник покражи, в которой его обвиняли, и что он понадобился мне только для переноски вещей; но эта сказка не оказала никакого действия на суде. Тщетно Массон старался доказать свою невинность, он был приговорен к заключению.

Немного времени спустя мне случилось присутствовать при отправлении арестантской партии. Массон, не видевший меня со времени ареста, заметил меня сквозь решетку.

— А, это вы, г-н Жан-Луи; славно вы изволили подвести меня. Честь вам и слава. Если б я тогда знал, что вы Видок, то не заплатил бы за ваши ананасы!

— Итак, ты очень на меня злишься? ведь так? а между тем сам предложил идти за собой?

— Правда, да кто вас знал, что вы каплюжник (полицейский).

— Если бы я тебе это сказал, то изменил бы своему долгу, и это не помешало бы тебе пообчистить твою комнату, ты только отложил бы на время экспедицию.

— Тем не менее вы таки ловкий каналья. А я-то был так искренен, всей душой вам предан! Клянусь вам, я все-таки предпочитаю застрять тут на веки вечные, нежели быть свободным, да таким изменником, как вы.

— О вкусах не спорят…

— Хорош вкус, нечего сказать!.. Стыдно подумать: каплюжник! Нечего сказать, хорошее звание!

— Все-таки не хуже воровского; к тому же, что сталось бы без нас с честными людьми?

При этих словах с ним сделался припадок хохота.

— Честные люди, — повторил он, — право, ты смешишь меня (он употребил более бесцеремонное выражение). Что сталось бы с честными людьми?.. Молчал бы ты лучше, это дело тебя не касается. Когда ты был в «лугах», тогда пел другую песню.

— Он туда и вернется, — сказал один из слушавших нас арестантов.

— Он-то! — воскликнул Массон, — да его там и не примут, другое дело добрый парень, которому везде рады.

Всякий раз, как исполнение моих обязанностей призывало меня в Бисетр, я был уверен, что мне придется выслушать целый короб упреков в том же роде. Редко я вступал в рассуждения с арестантом, обращавшимся ко мне с руганью, однако я не всегда пренебрегал возражать ему, из опасения, чтоб он не подумал, будто я боюсь его. Находясь в присутствии нескольких сот разбойников, которые все имели более или менее основание ненавидеть меня, так как почти все они прошли через мои руки и руки моих агентов, понятно, что мне необходимо было выказать известную твердость духа, но никогда стоическая твердость не была мне так необходима, как в тот день, когда я впервые появился среди этого ужасного люда.

Не успел я вступить на должность главного агента охранительной полиции, как, пылая желанием достойным образом выполнить возложенную на меня обязанность, я серьезно приступил к собранию справок и сведений, необходимых для меня в моей новой должности. Мне казалось, что. нелишне будет принять к сведению наружность и отличительные признаки всех личностей, находящихся в руках правосудия. Таким образом я имел бы возможность узнать их впоследствии,

если бы им случилось бежать, или, по окончании срока их наказание, иметь над ними надзор, который мне был предписан. На этом основании я ходатайствовал перед г-ном Анри о дозволении отправиться в Бисетр с моими помощниками, чтобы иметь возможность рассмотреть черты преступников в то время, когда их станут заковывать. Г-н Анри разными аргументами старался отклонить меня от этого неосторожного шага, который, по его мнению, представлял гораздо более опасности, нежели действительной пользы.

— Я слышал, — сказал он, — что заключенные составили против вас заговор. Если вы появитесь при отправлении партии, вы представите им случай, которого они давно выжидают с нетерпением; говорю вам, что какие бы предосторожности вы ни приняли, — я за вас не ручаюсь.

Я поблагодарил своего начальника за участие, которое он во мне принимает, но в то же время настоял на том, чтобы он исполнил мою просьбу. Он решил наконец дать мне на это свое полномочие.

В день, назначенный для заковки, я отправился в Бисетр в сопровождении нескольких моих агентов. Войдя во двор, я вдруг услышал страшный вой, изо всех окон послышались крики: «Долой сыщиков! Долой каплюжников! Долой разбойника Видока!» У всех окон стоят группы арестантов, некоторые сидят на плечах друг друга, приблизивши отвратительные лица к решеткам. Я сделал несколько шагов, рев усилился, воздух огласился бранью, угрозами лишить меня жизни, произнесенными самым яростным тоном. Это было поистине отвратительное зрелище — видеть все эти кровожадные рожи, на которых было написано желание мести. По всему дому поднялся страшный шум и гул; мною невольно овладело чувство ужаса; я уже упрекал себя в неосторожности и едва не отступил на попятный двор, но вдруг почувствовал новый прилив мужества. Ведь не боялся же я, когда боролся с этими злодеями в их притонах, может

ли теперь их голос заставить меня содрогнуться! Полно, отбросим все эти страхи, если даже придется поплатиться жизнью, надо показать твердость в опасности, чтобы они не подумали, будто мы струсили!

Эта новая решимость, более достойная того мнения, которое я желал внушить о себе, наступила так быстро вслед за первым моментом невольного страха, что арестанты не могли заметить моей слабости. Не опасаясь ничего более, я гордо стал оглядывать одно окно за другим и даже приблизился к нижнему этажу. В этот момент ярость заключенных перешла в неистовство; это были уже не люди, а дикие звери, с ревом бегающие по своим клеткам. Это был такой шум, такое волнение, будто все здание поколебалось и вот-вот рухнут стены темничных келий. Среди этого содома я дал знак, что желаю говорить: «Эй вы, шайка сволочи, ну к чему вы ревете? Вам следовало подумать о защите, когда вы попались по моей милости! Меня ведь не убудет, если вы ругаться будете. Вы называете меня шпионом, это правда, я шпион, господа, но ведь и вы не что иное, как шпионы; сознайтесь-ка, между вами нет ни одного, который не приходил бы ко мне продавать своих товарищей в надежде получить безнаказанность, которой я не желаю и не могу дать. Я предал вас в руки правосудия, потому что вы виновны. Я не щадил вас, это правда, но какое я имею основание беречь и щадить вас? Есть тут хоть один, которого я знал, когда он был свободен и который мог бы упрекнуть меня в том, что я когда-то работал с ним? И потом, допустим даже, что я вор; скажите мне, что из этого следует? Конечно то, что я всегда был ловчее и счастливее вас, так как мне никогда еще не случалось попадаться. Пусть самый смелый из вас укажет мне случай, когда я обвинялся в воровстве или мошенничестве. Представьте мне доказательство, хоть один факт, и я признаю себя большим негодяем, нежели все вы, вместе взятые. Это ли ремесло вы не одобряете? Пусть тот, кто более всего меня осуждает, ответит мне от-

кровенно: не случается ли ему раз сто на день завидовать моему положению?»

Эта речь, во время которой никто не перебивал меня, была покрыта свистками. Скоро рев и вопли возобновились с удвоенной силой, мною овладело одно только чувство — беспредельное негодование. В порыве гнева я сделался невероятно смелым. Когда осужденных должны были вести во двор для заковки, я встал у них на проходе и, решившись дорого продать свою жизнь, стал ждать, посмеют ли они выполнить свои угрозы. Признаюсь, я внутренне желал, чтобы один из этих презренных дерзнул поднять на меня руку, до того меня обуяла страсть мести. Горе тому, кто осмелился бы бросить мне вызов! Но никто из несчастных не сделал даже движения, и я отделался молниеносными взглядами, я вынес их с уверенностью и твердостью, которые всегда конфузят неприятеля. После переклички послышался глухой гул, предвестник нового гвалта, меня осыпают бранью, снова проносится крик: «Пусть же он идет! Он останется у двери!» — с прибавлением к моему имени самых грубых эпитетов. Выведенный из себя этими оскорбительными вызовами, я вошел в здание с одним из моих агентов и очутился среди двухсот разбойников, большею частью арестованных мною: «Ну же, смелей! смелей, братцы! — кричат голоса из камер одиночно заключенных, — оцепите свинью… бейте его… пусть от него следов не останется!..» Теперь настал момент выказать всю свою смелость.

— Что же, господа, убейте его, — сказал я, — убейте же, за чем же дело стало? Вы видите, что вам подают хорошие советы: отчего вам не попробовать последовать им?

Уж не знаю, какой внезапный переворот совершился в них, но чем более я приближался к ним, чем более поддавался их власти, тем более они усмирялись. Перед окончанием церемонии заковывания эти люди, поклявшиеся уничтожить меня, до такой степени смягчились, что некоторые из них даже попросили меня оказать им некоторые мелкие услуги.

Конечно, я поспешил сделать все что мог, и на другой день, во время отправления партии, мои враги радушно распростились со мной, поблагодарив меня за мою обязательность. Все эти волки превратились в ягнят; самые неукротимые сделались смирны, почтительны, по крайней мере по виду, даже до унижения.

Этот опыт послужил мне уроком, которого я никогда не забывал; он доказал мне, что с людьми такого закала всегда следует обращаться как можно круче и решительнее, и чтобы держать их всегда в повиновении, стоит постращать их только один раз. С этих пор я не пропускал ни одной партии, не осмотрев арестантов при заковке, и, за немногими исключениями, я не испытывал более никаких оскорблений. Заключенные привыкли меня видеть, и если бы я не явился, всем показалось бы, что чего-то недостает. Многие из арестантов давали мне разные поручения. В тот момент, когда над ними совершалась, так сказать, гражданская казнь, я становился их душеприказчиком. У небольшого числа из них ненависть ко мне не совсем улеглась, но злоба вора не отличается продолжительностью. В течение восемнадцати лет, пока я вел войну с мошенниками всякого разбора, мне угрожала опасность; немало каторжников, известных своей неустрашимостью, поклялись лишить меня жизни, коль скоро они освободятся. Но никто из них не исполнил своей клятвы и не исполнит ее никогда. Знаете ли, отчего? Оттого, что для всякого вора первое, единственное дело — это воровать, это занятие исключительно поглощает его. Если он не может избегнуть этого, он убьет меня из-за моего кошелька — это входит в круг его ремесла; он убьет меня, пожалуй, чтобы удалить докучливого свидетеля, все это допускается его ремеслом; он убьет меня, чтобы ускользнуть от наказания; но если возмездие свершилось, к чему тогда убивать? Воры не теряют времени в бесполезных для них убийствах.

Глава тридцать пятая

Выгода иметь здоровый желудок. — Гревские ласточки. — Прихоти этих господ. — Аннетта, или «Добрая женщина». — «Видок влопался» — новая комедия. — Я исполняю роль Видока. — Я помогаю бежать одному преступнику. — Чулки и башмаки, служащие уликой. — Пощечина. — Меня арестуют. — Мое освобождение. — Повязка спадает

Однажды, проведя часть ночи в притонах Рынка, надеясь встретить там каких-нибудь мошенников, которые в припадке добродушия, обыкновенно вызываемого двумя-тремя лишними рюмками водки, проболтаются о своих прошедших, настоящих и будущих подвигах, я шел домой в скверном расположении духа и недовольный тем, что проглотил понапрасну и в ущерб своему желудку несколько рюмок отвратительного напитка — разбавленного спирта, приправленного купоросом. Вдруг на углу улицы Кутюр-Сен-Жерве я увидел нескольких людей, притаившихся в амбразурах дверей. При свете фонарей я не мог не различить лежащие около них узлы, объем которых они тщательно пытались скрыть. Узлы в этот час ночи, люди, скрывающиеся в углублениях дверей, когда нет ни капли дождя — все это показалось мне весьма подозрительным. Я заключил из этого, что люди эти — воры и что в узлах заключается захваченная ими добыча. Хорошо же, подумал я, не будем показывать виду, что заметили кое-что, последуем за процессией, когда она выступит, а если она пройдет мимо гауптвахты, тогда голубчики мои пропали! В противном случае я провожу их на ночлег, узнаю их номер и отправлю туда полицию. Едва успел я пройти несколько шагов, как меня окликнули: «Жан-Луи!» Я узнал голос некоего Ришло, которого я часто встречал в сборищах воров; я остановился.

— Добрый вечер, Ришло, — сказал я, — на кой черт ты слоняешься тут в такую пору? Ты один или нет? Однако какой у тебя испуганный вид.

— Еще бы не испуганный, чуть-чуть было не влопался (попался). — Влопался? Скажите, пожалуйста, ради чего же?

— Ради чего? А вот подойди и увидишь, там приятели с тырманом (добычей).

— А, так вот что, понимаю.

Я приблизился, и вся компания поднялась, на ноги; я узнал Лапьера, Камери, Ленуара и Дюбюиссоиа. Все четверо сделали мне самый дружеский прием и протянули руки.

Камери. Ну уж хорошо мы отделались, нечего сказать. У меня до сих пор сердце бьет тревогу; положи-ка сюда руку; слышишь, так и трепещет…

Я. Ничего, не беда.

Лапьер. О, и подумать страшно, какая у нас тут стрема (опасность, тревога) была; за спиной зелень (парижская гвардия в зеленых мундирах)… просто мороз по коже подирает.

Дюбюиссон. И к довершению всего Гревские ласточки (парижские драгуны) носом к носу, на лошадях при самом повороте около Gaite…

Я. Ах вы олухи! Надо было весь тырман свалить на извозчика. Какие же вы после этого мазурики?

Ришло. Бранись сколько душе угодно, а ловака (лошади) у нас не было, а надо было выпутаться во что бы то ни стало, вот мы и пробираемся нарочно по побочным улицам.

Я. Куда же вы теперь идете? Может быть, я могу быть полезным…

Ришло. Пойдем с нами в улицу Сен-Себастьен, там мы сложим тырман, и тебе кое-что достанется на сламе (дележ).

Я. С удовольствием, друзья.

Ришло. В таком случае марш вперед, и если увидишь каплюжников (полицейских) либо михлютку (жандарма), смотри, не зевай.

Ришло и его товарищи схватили в охапку свои узлы, а я пустился вперед. Переход совершился благополучно; мы добрались до двери дома без приключений. Каждый из нас

разулся, чтобы поменьше шуметь, входя по лестнице. Вот мы и на площадке третьего этажа. Нас ждали; дверь тихонько растворяется, и мы входим в обширную, тускло освещенную комнату, жилец которой, бывший рабочий на верфях, как я сейчас же распознал, уже попадался в руки комиссии. Хотя он меня не знал, но мое присутствие, видимо, беспокоило его, и пока он прятал узлы под кровать, я заметил, что он шепотом спросил о чем-то, на что ему ответили громко:

Ришло. Не бойся, это Жан-Луи, славный парень, будь покоен, он откровенный.

Жилец. Ну, тем лучше! Нынче столько этой сволочи, каплюжников, развелось, что житья никакого нет.

Лапьер. Ну, полно, полно, я за него ручаюсь, как за самого себя, это «друг» и истый француз.

Жилец. Ну, если это так, я полагаюсь на вас, а затем выпьем по малости. (Он влез на какую-то табуретку и, запустив руку за карниз ветхого шкапа, вытащил оттуда полную бутыль). Вот она, родимая! «Гамза» (водка) первый сорт. Сам покупал; ну же, Жан-Луи, за тобой дело стало, начинай, почтенный.

Я. Охотно. (Наливаю водку в рюмку и пью). Важно! Хороша, нечего сказать, по всему телу так и пробежала; ну теперь твоя очередь, Лапьер, прополощи себе глотку.

Рюмка и бутыль пошли по рукам, и когда все достаточно поддали, вся компания повалилась на кровати и заснула до утра. На рассвете на улице послышался крик трубочиста (известно, что в Париже савояры исполняют роль петухов в пустынных кварталах).

Ришло (толкая своего соседа). Эй, Лапьер, идем, что ли, к торговке (укрывательнице ворованных вещей).

Лапьер. Убирайся, я спать хочу.

Ришло. Да ну же, проснись…

Лапьер. Ступай один или возьми с собой Ленуара.

Ришло. Дело-то неподходящее, ты уж продавал не раз, верное будет…

Лапьер. Оставь ты меня в покое… Я спать хочу, говорят тебе.

Я. Ах, Боже мой, что тут толковать о пустяках, я схожу за вас, если скажете мне адрес.

Ришло. Ты прав, Жан-Луи, но торговка-то тебя еще не видала, она работает только для нас. Уж если хочешь, пойдем лучше вместе.

Я. Ну ладно, вдвоем-то лучше, на другой раз будет знать мою рожу.

Отправляемся. Укрывательница жила в улице Бретон № 14, в доме одного колбасника. Ришло входит в лавку и спрашивает, дома ли мадам Бра. Ему отвечают утвердительно, и, пройдя по коридору, мы входим на лестницу до третьего этажа.

Мадам Бра еще не выходила, но она положила себе за правило ничего не принимать днем. «По крайней мере, — сказал Ришло, — если уж не хотите сейчас брать товар, то дайте нам что-нибудь в счет; важный товар, уверяю вас. Вы знаете нас, мы ведь тоже честные.

— Благодарю покорно, из-за ваших прекрасных глаз я не намерена компрометировать себя. Приходите вечером, ночью все кошки серы.

Ришло и так и сяк старался выманить у нее что-нибудь, но она была неумолима, и мы убрались, не получив ни гроша. Мой товарищ ругался напропалую, надо было его слышать.

— Полно, — утешал я его, — подумаешь, будто все дело пропало, зачем из-за пустяков убиваться? Не хочет, так и не надо, другая возьмет; пойдем со мной к моей знакомой, та уж наверное даст нам четыре или пять рыжиков (червонцев).

Мы отправились в улицу Нев Сен-Франсуа, где была моя квартира. Свистком я известил о себе Аннетту, она быстро сошла вниз и явилась к нам на угол старой улицы Тампль.

— Здравствуйте, сударыня.

— Здравствуй, Жан-Луи, что скажете.

— Вот если бы вы были умницей, то дали бы мне до сегодняшнего вечера франков с двадцать.

— Знаю я до вечера! Если вы что заработали, так спустите в Куртиле.

— Нет, уверяю вас, мы будем аккуратны.

— Полно, так ли? Я отказывать вам не хочу, а ступай ты со мной, а твой товарищ пойдет подождет тебя в кабачке на углу улицы Озель.

Оставшись один с Аннеттой, я дал ей инструкцию, как поступать, и когда уверился, что она меня поняла, отправился к Ришло в кабак. «Вот это женщина хорошая!» — сказал я, показывая ему двадцатифранковую монету.

— Вот и прекрасно: ей и сдадим тырмап (добычу).

— Очень ей нужно! Она только и принимает, что веснухи (часы), скуржаны (серебро) да сверкальцы (драгоценности).

— Жалко, а то баба хорошая, такую-то нам и нужно.

Выпив свою порцию водки, мы отправились домой, куда явились с жирным нормандским гусем и колбасой. Я выложил деньги, и так как они назначались нам на пропитание и угощение, то мы сейчас же купили двенадцать литров вина и три хлеба, по четыре фунта каждый. Аппетит у нас был здоровый, и вся провизия мгновенно исчезла. Бутыль с гамзой была опорожнена до последней капли. Окончив трапезу, стали поговаривать об узлах. В них заключалось тончайшее белье, простыни, рубашки, платья, обшитые великолепными кружевами, жабо, галстуки и т. д. Все эти предметы еще не успели высохнуть. Поры рассказали мне, что стащили все это в одном из лучших домов улицы Эшикье, куда взобрались в окно, проломав железную решетку.

Окончив осмотр, я подал совет разделить всю добычу на части, чтобы не продавать все в одно место. Я объяснил им, что за каждую часть в отдельности им дадут столько же, сколько за все разом. Мои приятели приняли мой совет и добычу разделили на две части. Теперь оставалось только

найти, куда сбыть товар. За одну половину они были спокойны, надо было позаботиться только о том, чтобы найти покупателя для остальной добычи. Я указал им на тряпичника, прозванного «Красным яблоком», живущего на улице Жюивери. Давно уже он был известен мне за человека, покупающего краденые вещи у первого встречного. Теперь представлялся случай испытать его, и мне не хотелось упустить его. Если он попадется, думал я, то результат моих комбинаций будет как нельзя удачнее — вместо одного укрывателя я накрою их двух, и мне посчастливится одним ударом трех зайцев убить.

Решено было обратиться с предложением к указанному мной человеку, но нельзя было ничего предпринять до наступления ночи, а до тех пор можно было умереть со скуки. О чем говорить? Воры обыкновенно страдают от мучительной скуки, четверть часа трудно оставаться в их компании, чтобы не соскучиться. Что делать? Мазурики обыкновенно ничего не делают, когда не «работают», а когда работают, так тоже ничего не делают. Однако надо же чем-нибудь убить время; у нас было еще немного денег, потребовали вина большинством голосов, и вот мы снова за попойкой. Сыны Меркурия пьют здорово, но не всегда ведь можно пить. Если бы еще пьяницы походили на бездонные Данаидовы бочки, ну тогда еще куда ни шло, а тут, к несчастью, чтобы избегнуть пресыщения, надо приостановиться — так приятели и сделали. Сознавая, что их мозги понадобятся им позднее, а между тем густой туман начинал застилать их головы, они, чтобы не потерять «компаса», перестали вливать себе в рот опьяняющую влагу и разевали его только для болтовни. О чем шел разговор? О чем же ином, как не о приятелях, находящихся «в лугах», или «на месте» (попавшихся в руки правосудия). Толковали тоже об чертовой роте (полицейских).

— Ах, кстати об чертовой роте, — сказал рабочий с верфей, — не слыхали вы о знаменитом подлеце, который

сделался «поваром» (сыщиком), зовут его Видок. Не знаете ли его?

Все вместе (в том числе и я). Как не знать! По имени и понаслышке знаем.

Дюбюиссон. О нем толкуют немало. Говорят, он был упрятан в лугах на 24 года.

Рабочий. Что ты толкуешь, дурак! Видок известный вор, приговоренный на всю жизнь, по милости побегов. Оттуда он выбрался только потому, что обещал выдавать «друзей». Бедовый этот Видок. Коли задумает кого подвести, так старается влезть ему в душу, а как подружится, так и вытаскивает стыренное из карманов, и дело с концом, или ведет их нарочно в дело, и тогда пиши пропало. Он, а никто другой изловил Бальи, Жаке и Мартино, да, он, чтобы ему пусто было! Надо вам рассказать, как он им дыму в глаза напустил.

Все (я подтягиваю). Славно сказано — дыму в глаза!!

Рабочий. Вот раз сидели они и пьянствовали с Рибулэ, таким же разбойником, как Видок, — фобуржец, Машкин любезный.

Все. Белокурой Машки?

Рабочий. Он самый. Говорили о том, о сем. Видок и говорит, что он из лугов пришел и ему желательно найти друзей и «поработать» вместе. Другие-то сдуру попадаются в капкан. Так он славно отуманил их, что сейчас же сманил на одно дело; решено было, что он будет на стороже. Да, на стороже для чертовой роты, — вот и попались. Всех их повели, рабов божьих, а эта шельма с товарищем дали тягу. Вот, видите ли, как берутся за дело, чтобы губить добрых малых. Он подкосил (гильотинировал) всю компанию «Chauffeur'ов», а сам-то был у них первым зачинщиком.

Всякий раз, как рассказчик делал паузу, мы подкреплялись глотком вина. Лапьер, воспользовавшись одной из пауз, сказал:

— Что он нас дурачит со своими россказнями; охота ему тараторить, а мне слушать право неохота — ты думаешь, весело, что ли?

Рабочий. Что ж ты хочешь делать, любопытно узнать? Если бы были карты, так козырять можно было бы.

Лапьер. Нет, я хочу комедию разыгрывать.

Рабочий. Ах ты, г-н Тарма (Тальма)! Ну что же, играй.

Лапьер. Могу я разве один играть?

Ришло. Мы тебе поможем, какую только пьесу?

Дюбюиссон. А вот ту пьесу, знаешь, где есть Цесарь и один там говорит: первый, кто был королем, тот…

Лапьер. Все вы не то толкуете, надо нам сыграть комедию под заглавием: «Видок влопался», продав всех своих братьев, как когда-то продали Иосифа.

Я не знаю, что и подумать об этой страшной выходке, но, однако, нисколько не потерявшись, я крикнул, что роль Видока беру на себя. Они согласились — он такой же толстый, как и ты, заметили они, как раз и подходишь.

— Ты толст, — сказал мне Ленуар, — а он поди еще толще тебя.

— Все равно, — заметил Лапьер, — Жан-Луи и так годится, пожалуй, весит-то он столько же.

— Сколько толков из-за пустяков — ну стоит ли? — воскликнул Ришло, перенося стол в один из углов комнаты. — Ты, Жан-Луи, и ты, Лапьер, ступайте сюда, Ленуар, Дюбюиссон и Этьен (рабочий) встанут в другом углу; они будут «приятели», а я встану вот тут, против столба (кровати) и буду публика.

— Что это за зверь — публика? — вопрошает Этьен.

— Ну, это народ, что смотрит, если тебе так понятнее. Ну, не дубина ли он, господа?

— Я зритель буду.

— Да нет же, олух, я буду публика, а ты — «приятель», ступай на свое место, сейчас начнется.

Действие происходит в Куртиле, все разговаривали между собою, я встаю и под предлогом попросить табаку завязываю разговор с «приятелями» за соседним столиком, пускаю в ход несколько слов на «музыке», все убеждаются, что я свой, многозначительно подмигивают мне, я в свою очередь отвечаю таким же взглядом, и оказывается, что мы люди, занимающиеся одним и тем же ремеслом. Тогда начинается обмен обычными учтивостями, угощение вином. Я жалуюсь на тяжкие времена и на то, что нет больше никакой возможности работать, мне сожалеют, я сожалею в свою очередь. Мы вступаем в фазис умиления; я проклинаю чертову роту (полицию), они не отстают от меня; я жалуюсь на каплюжника (полицейского) моего квартала, который недолюбливает меня. Мне сочувствуют, жмут руку, я отвечаю пожатиями, решено — на меня можно рассчитывать вполне. Затем следует известное предложение… Роль, которую я исполнял, была почти такая же, какую я разыгрывал всегда. Но тут я пересаливал, например, нагружал карманы приятелей крадеными вещами и т. д. После этой сцены послышался гром рукоплесканий и взрыв хохота.

— Важно разыграно! — воскликнули разом в актеры и зрители.

— Хорошо, не могу сказать ничего худого, — прибавил Ришло, — но нам пора… солнце уж заходит, пьесу можно окончить на извозчике либо придя назад, как пропулим (продадим) товар. Пойду за ловаком (лошадью), ведь так, эй вы, приятели!

— Да, да, едем, да поскорее.

Драма разыгрывалась дружно и приближалась к развязке, но развязка эта была несколько иного рода, нежели предполагали мои приятели, и вовсе не соответствовала заглавию пьесы; мы сели в фиакр и велели кучеру везти на угол улицы Бретань и Турэн. В двух шагах жил некий Бра, один из покупщиков краденых вещей. Дюбюиссон, Камери и Ленуар

вышли из экипажа, унеся с собою часть товаров, которые решено было продать.

Пока они торговались, я заметил, высунувши голову в окно, что Аннетта в совершенстве исполнила мои инструкций. В нескольких шагах я видел полицейских агентов, переминавшихся с ноги на ногу, поднявши кверху носы или расхаживавших взад и вперед с самым беспечным видом.

Прошло десять минут, наши товарищи, отправившиеся к Бра, уже вернулись. Они выручили 125 франков за свою добычу, которая стоила по крайней мере втрое или вчетверо, но это все равно — деньги были налицо, и теперь оставалось только наслаждаться ими. У нас в экипаже оставались еще узлы, которые мы предназначали для Красного яблока. Доехав до улицы Жюйвери, Ришло сказал мне: «Теперь ты будешь продавать, ведь мешок-то (приемщик) знакомый твой.

— Ну, это мне не с руки, — ответил я, — у нас с ним счеты есть, и мы повздорили.

Я вовсе не был должен Красному яблоку, но мы с ним виделись, он знал, кто я такой, и неосторожно было бы показываться ему; поэтому я предоставил приятелям обделывать свои дела, и по возвращении их, убежденный, что полиция приготовилась действовать, я предложил идти ужинать в гостиницу Grand Casuel на набережной Пелетье.

После посещения Красного яблока наши капиталы увеличились на восемьдесят франков и мы имели возможность развернуться во всю ширь, не опасаясь разориться, но мы не имели времени насладиться своим богатством. Едва успели мы помочить губы в своих стаканах, как вошла стража и за ней целая фаланга полицейских. Надо было видеть, как вытянулись лица моих собеседников при виде ветеранов и чертовой роты; все прошептали испуганным голосом: «мы проданы»… Полицейский офицер Тибо пригласил нас предъявить наши бумаги. У одних вовсе не оказалось бумаг, у других хотя и были, да не в порядке, в том числе и у меня.

— Забрать этих молодцов! — скомандовал офицер. Нас связали попарно и повели к комиссару. Лапьер шел в паре со мной.

— Надеешься ты на свои ноги? — шепнул я ему на ухо.

— Да, — ответил он; добравшись до улицы Таннери, я вынул нож, спрятанный в рукаве, и перерезая веревку.

— Теперь смелей, Лапьер! мы спасены! — воскликнул я. Одним ударом локтя в грудь одного из сопровождавших нас я повалил его наземь и в два прыжка очутился в узком переулке, ведущем к Сене. Лапьер последовал за мной, и мы вместе добираемся до набережной Орм.

Нас потеряли из виду, и я был в восторге, что мне удалось удрать и таким образом избегнуть того, чтобы меня узнали. Лапьер был доволен не менее моего, так как он не подозревал даже никакой задней мысли, а между тем, содействуя его побегу, я сделал это с расчетом попасть в другую шайку воров.

Бежав с Лапьером, я устранял от себя все подозрения его товарищей и удерживал за собой хорошее мнение, которое они имели обо мне. Таким образом я подготовлял себе новые открытия; так как я был тайным агентом, то обязан был компрометировать себя как можно менее.

Лапьер был свободен, но я не выпускал его из виду и готов был выдать, как только он окажется мне ненужным. Мы продолжали бежать до гавани Лопиталь и остановились только перед кабаком, куда вошли освежиться и перевести дух. Я велел подать нам выпить, чтобы окончательно прийти в себя.

— Ну, что скажешь, друг Лапьер? Славная была гонка!

— Да, да, досталось-таки нам! Никто меня не разубедит в том…

— В чем же, смею спросить?

— Ну да это потом, теперь выпьем.

Опорожнив свой стакан, он сделался задумчивым и повторял:

— Нет, нет, никто меня не разубедит…

— Да объяснись же, наконец.

— Что же выйдет из моего объяснения?

— Ты прав; а вот что — ты прекрасно сделал бы, сняв чулки, которые у тебя надеты, да галстук, повязанный на шее.

Лапьер был почти в одинаковом положении, как некий джентльмен, который, вылетая из окна в сад Пале-Рояля, не имел другой обуви, кроме шелковых чулок и белых атласных башмаков своей любовницы. Мне показалось, что я замечаю в глазах моего приятеля нечто вроде недоверия; эта черная точка обыкновенно так быстро разрастается, что я почувствовал необходимость рассеять ее и дать Лапьеру доказательство моей преданности и расположения. Вот почему я посоветовал ему отбросить некоторые принадлежности его туалета, которые могли изобличить его, так как принадлежали к числу украденных вещей и были надеты тотчас же после дележа.

— Что же мне с ними делать? — спросил Лапьер.

— Как что? Известно, бросить в воду.

— Ну уж извини! Новые шелковые чулки и платок еще не подрубленный, брось-ка свои, если тебе это нравится!

Я заметил ему, что на мне не было ничего такого, что могло скомпрометировать меня.

— Ты как заяц, — прибавил я, — потерял память, пока бежал. Разве ты не помнишь, что мне не досталось галстука, а с моими икрами разве возможно было надеть женские чулки?

Он послушался моих увещаний, разулся и с раздумьем вертел в руках чулки, завернутые в шейный платок.

Воры в одно и то же время отличаются скупостью и расточительностью. Лапьер чувствовал необходимость отделаться от этих вещей, которые могли изобличить его, но в то же время у него болело сердце при мысли расстаться с ними. Результаты покражи часто так дорого достаются, что принести их в жертву бывает тяжело.

Лапьер во что бы то ни стало хотел продать чулки и платок, и мы отправились вместе в улицу Бушерон и предложили

вещи купцу; тот дал нам за них сорок пять су. Лапьер, по-видимому, успокоился после обрушившейся на него катастрофы, а между тем он был не так свободен и искренен, как прежде, и, судя по всему, я внушал ему сильные подозрения, невзирая на мои старания восстановить с ним прежние отношения. Подобные подозрения вовсе не соответствовали моим видам; убедившись, что нам лучше всего поскорее расстаться, я сказал ему:

— Если хочешь, отправимся ужинать на площадь Мобера.

— Ладно, пойдем, — ответил он.

Я повел его к «Двум братьям», где потребовал вина, котлет, ветчины и сыру. В одиннадцать часов мы все еще сидели за столом. Наконец все ушли и нам подали счет — всего было на 4 франка пятьдесят сантимов. Я стал шарить по карманам.

— Странное дело! Где же моя пятифранковая монета?

Я стал искать повсюду, но денег нигде не находил.

— Ах, Боже мой, какая досада: я, верно, потерял ее, когда бежал. Поищи-ка, Лапьер, не у тебя ли она.

— Нет, говорят тебе, у меня мои сорок пять су и ни шиша больше.

— Ну давай хоть это, я заплачу пока хоть сколько-нибудь, а потом устроимся как-нибудь.

Я предложил кабатчику два франка пятьдесят сантимов, обещая ему доставить остальное на другой день. Но он не так-то легко поддался на мои просьбы и обещания.

— А, вы полагаете, — кричал он, — что достаточно прийти набить себе брюхо, а потом удрать не заплативши. Нет-с, вы извините…

— Но, — заметил я, — такое обстоятельство может случиться со всяким честным человеком.

— Да, заговаривай зубы-то; знаю я вас. Когда нет гроша за душой, так надо и постесниться, а не заказывать себе ужина на шаромыжку.

— Не сердитесь, любезный, ведь дела не поправите…

— Без рассуждений, заплатите сейчас же, или я пошлю за полицией.

— Полиция! Вот вам с вашей полицией, — ответил я, сопровождая свои слова бесцеремонным жестом, употребительным в простом народе.

— Ах ты мошенник, не довольно, что налопался моим добром, он же еще говорит дерзости… — возопил кабатчик, подставляя мне кулак под нос.

— Не смей трогать, — воскликнул я в свою очередь, — или я…

Он все-таки подвигался ко мне, и я ловкой рукой влепляю ему звонкую пощечину.

Дело дошло до настоящей свалки; Лапьер, предвидя, что это может окончиться плохо, счел нужным улепетнуть; но в эту самую минуту один из гарсонов схватил его за шиворот, с криком: «Караул! Воры!».

Гауптвахта была в двух шагах, солдаты прибежали на шум, и во второй раз в течение дня мы очутились между двух рядов ненавистных воинов. Мой товарищ пытался убедить их, что он тут ни при чем, но вахмистр ничего и слышать не хотел, и нас свели в участок. С этой минуты Лапьер окончательно присмирел и приуныл; он более не раскрывал рта. Наконец, к двум часам ночи комиссар, делая обход, потребовал, чтобы ему представили всех вновь арестованных. Лапьер появился первым, и ему объявили, что его выпустят, если он согласится заплатить за ужин. Позвали в свою очередь и меня; войдя в кабинет, я узнал Легуа, а он меня. В двух словах я объяснил ему, в чем дело, и указал место, где были проданы чулки и шейный платок, и пока он делал распоряжение, чтобы захватить эти необходимые вещи для ареста Лапьера, я снова вернулся в камеру заключенных. Он уже вышел из своей задумчивости.

— Наконец я понял, — объявил он, — теперь я вижу, в чем дело; все это сделано нарочно.

— Хорошо, будь по-твоему, а я поговорю с тобой откровенно. Допустим, что все это сделано нарочно; в таком случае, скажу тебе, что ты виноват, а никто другой, что мы с тобой «влопались».

— Нет, любезный, не я, и не знаю кто, а тебя подозреваю все-таки больше других. — При этих словах я рассердился, он также вышел из себя, и мы начинаем драться. Нас разнимают. Как только мы расстались, я отыскал свои деньги и так как кабатчик не внес в счет полученную им плюху, то моих денег достало не только на уплату за ужин, но еще на выпивку солдатам, как обыкновенно водится. Исполнив этот долг, ничто более не удерживало меня; я удалился восвояси, не простившись с Лапьером; на другой день я узнал, что мои труды увенчались полным успехом: супруги Бра и Красное яблоко были накрыты среди вещественных доказательств их гнусной торговли и принуждены были сделать полное признание… Один Лапьер упорно отрицал свою виновность, но на очной станке с торговцем с улицы Бушерон он наконец сознался, увидев чулки и шейный платок, служившие уликой. Вся шайка, воры и укрыватели, были препровождены в Форс, в ожидании суда. Там они вскоре узнали, что их приятель, игравший роль «влопавшегося Видока», не кто иной, как сам плут Видок. Трудно себе представить их удивление; как они упрекали себя, что связались с таким искусным актером. После приговора все были отправлены в галеры. Накануне отъезда я присутствовал, по обыкновению, при заковке. Увидав меня, они не могли удержаться от улыбки.

— Полюбуйся-ка, — сказал мне Лапьер, — это дело твоих рук, доволен теперь, мошенник!

— По крайней мере мне нечем упрекнуть себя, не я уговаривал вас воровать. Не вы ли сами позвали меня? Другой раз не будьте так доверчивы. Когда занимаешься таким ремеслом, надо держать ухо востро.

— Все равно, — сказал Камери, — ты можешь продавать товарищей сколько угодно, а тебе не избегнуть лугов (галер).

— А пока счастливого пути. Приготовьте для меня местечко, а если вернетесь в Пантен, то не попадайтесь в капканы.

После этого ответа они стали разговаривать между собой.

— А, он еще потешается над нами, подлец! — сказал Ришло, — ну хорошо же, пусть будет осторожнее…

— Ух, ты бы лучше держал язык за зубами, — ответил ему другой, — ведь не ты ли сам привел его в нашу компанию. Уж если был знаком с ним, так должен был знать, что на него, душегубца, положиться нельзя…

— Да, да, этим мы обязаны тебе, Ришло, — возразил Красное яблоко, которого в это время заковывали, причем удар молотом чуть-чуть не размозжил ему голову.

— Смирно лежать! — грубо прикрикнул на него кузнец.

— А все-таки, — продолжая он, не смущаясь, — приемщик нас подкузьмил, а то бы…

— Будешь ты смирно лежать, собака? Береги свою башку!

Эти слова были последними, которые я услышал; удаляясь, я увидал, по известным жестам, что разговор был оживленный. Что они говорили — я не знаю.

Глава тридцать шестая

Поездка в Сен-Клу. — Коварные приманки. — Беспорядок в спальне. — Честные люди предместья Сен-Марс. — Язык Иуды. — Две любовницы. — От радости вырастают крылья. — Монолог. — Поверья. — Любовница русского князя. — Старый сераль. — Куртизанки. — Святой ковчег. — Копилка. — Ненависть к эполетам. — Похвальные чувства. — Лотерейный билет. — Пенелопа. — Клятва публичных женщин. — Луизон-болтунья. — Чудовище. — Фурия. — Тяжелая обязанность. — Эмилия в участке. — Филемон и Бавкида. — Жозефина Реаль. — Философские размышления. — Наказанный изменник. — Освобождение. — Ответ на критические замечания

Летом 1812 года один вор по ремеслу, некто Гото, давно мечтавший снова попасть на должность сыщика, которую он исполнял до моего поступления в полицию, явился предлагать мне свои услуги ввиду предстоящего праздника в Сен-Клу. Известно, что праздник этот бывает одним из самых блестящих в окрестностях Парижа и что ввиду громадного стечения публики там никогда не бывает недостатка в карманниках. Это было в пятницу; просьба Гото показалась мне тем более странною, что еще недавно я доставил полиции насчет него сведения, вследствие которых он был привлечен к суду. Может быть, думал я, он старается сблизиться со мной собственно с той целью, чтобы подставить мне ногу или сыграть какую-нибудь скверную штуку. Вот каково было мое первое впечатление. Однако я принял его радушно и даже выразил ему свое удовольствие за то, что он не усомнился в моем желании быть ему полезным. Я старался быть настолько искренним в уверениях о своем расположении, что ему невозможно было не обнаружить своих настоящих намерений; внезапная перемена в выражении его лица доказала мне, что, принимая его предложение, я буду содействовать известным планам, которых он не имеет никакой охоты доверять мне. Я ясно видел, что он внутренне радуется тому, что я попал впросак. Как бы то ни

было, я притворился, будто имею к нему глубочайшее доверие, и мы условились, что через два дня, в воскресенье, он около двух часов отправится сторожить у главного бассейна и будет указывать нам своих знакомых воров, которые, по его словам, должны прийти «работать» на праздник.

В назначенный день я отправился в Сен-Клу с двумя агентами, в то время находившимися в моем распоряжении. Прибыв на условленное место, я не нашел Гото; стал ходить взад и вперед, смотреть во все стороны — моего Гото все нет. Наконец, потеряв терпение, я отправил одного из своих помощников в главную аллею, не найдет ли он где-нибудь в толпе нашего товарища, неаккуратность которого была настолько же подозрительна, насколько прежде его усердие.

Мой разведчик проискал напрасно целый час; наконец, утомленный поисками и прогулками по всем направлениям в саду и парке, он пришел объявить мне, что нашего приятеля не видно решительно нигде. Несколько минут спустя я увидел Гото, бегущего к нам, запыхавшись. «Знаете ли! — воскликнул он, — я соследил шестерых мазуриков, и они уже славно наклевались, да вдруг увидели вас и убрались прочь, а жалко, черт возьми — славно клевали! Впрочем, время терпит, накрою их в другой раз».

Я сделал вид, что принимаю эту выдумку за чистую монету, и Гото был убежден, что я не сомневаюсь в истине его слов. Мы провели вместе большую часть дня и расстались только вечером. Тогда я отправился в жандармский караул, где мне сообщили, что в толпе было украдено несколько часов и других вещей, в направлении совершенно противоположном тому, которое указывал мне Гото. Я убедился окончательно, что нас нарочно увлекли по одному направлению, чтобы удобнее действовать по другому. Эта старинная уловка, основанная на известной тактике диверсий и фальшивых донесений, делаемых полиции ворами, с целью избавиться от ее наблюдения.

Гото, которому я, конечно, не сделал ни малейшего упрека, был вполне уверен, что я попался на удочку; но если я молчал, то много думал про себя, и, подружившись с ним еще более, я надеялся уловить случай, чтобы провалить ею окончательно. Мы стали закадычными друзьями, и удобный случай представился ранее, нежели я ожидал.

Однажды утром, возвращаясь вместе с Гафре из предместья Сен-Марс, где мы ночевали, мне пришла в голову фантазия сделать неожиданный визит нашему другу Гото. Я сообщил об этом намерении своему спутнику, он изъявил согласие, и мы вместе отправились к Гото на квартиру. Входим; он встречает нас, по-видимому, очень удивленный нашим появлением.

— Какими судьбами в такую раннюю пору? — воскликнул он.

— Это тебя удивляет, — ответил я, — а мы пришли распить с тобой бутылочку.

— Если так, так милости просим — добро пожаловать. — И он снова лег в постель. — Где же ваша обещанная выпивка?

— Гафре сходит купить, что следует. — Я пошарил в карманах, и так как Гафре по своей жидовской натуре был менее скуп на ходьбу, нежели на деньги, то с удовольствием принял на себя исполнить поручение. Во время его отсутствия я заметил, что у Гото утомленный вид, как у человека, который слишком поздно лег спать; кроме того, в комнате был страшный беспорядок — платье его, брошенное кое-как, казалось, было недавно под сильным дождем; обувь была покрыта грязью, еще не успевшей высохнуть. Я не был бы Видоком, если бы из всех этих признаков не вывел тотчас же заключение, что Гото недавно вернулся из экспедиции. Пока я не смел еще приходить к другому заключению, но скоро мне пришли в голову подозрения, которые я не мог отогнать. Чтобы не показаться любопытным и опасаясь встревожить нашего приятеля, я не стал даже обращаться к нему с вопросами. Мы

заговорили о погоде и о разных мелочах и, распив нашу бутылку, расстались.

Очутившись на улице, я поспешил сообщить Гафре мои наблюдения:

— Он, наверное, провел ночь не дома, — сказал я, — и, если я не ошибаюсь, тут дело нечисто.

— Я тоже думаю, его платье еще мокро и обувь вся в грязи. Действительно, тут что-то неладно.

Гото, конечно, не подозревал, что речь шла о нем, но, наверное, ему икалось, пока мы терялись в догадках насчет его приключений. Куда он ходил, что делал, не принадлежит ли он к какой-нибудь шайке — вот вопросы, которые мы задавали друг другу. Гафре был заинтересован не менее моего, и наши догадки, конечно, были такого свойства, что не могли сделать чести нравственности нашего приятеля.

В полдень, по обыкновению, мы явились представлять отчет о наших наблюдениях в продолжение ночи; доклад наш вовсе не был интересен — добычи мы не соследили ровно никакой. «Оказывается, — заметил наш начальник Анри, — что в квартале Сен-Марго все честные люди живут, и я лучше бы сделал, послав вас на бульвар Сен-Мартен. Кажется, господа воры снова принялись за покражу свинца: в нынешнюю ночь было похищено около 450 фунтов в одном строящемся здании. Сторож преследовал их, но не мог нагнать; он уверяет, что их было четверо. Они делали свое дело во время сильного дождя».

— Во время дождя! Так вот в чем дело, — воскликнул я, — теперь я знаю одного из воров.

— Кто такой?

— Гото!

— Тот самый, что состоял при полиции, а теперь снова просится на службу?

— Тот самый.

Я сообщил начальнику о своих наблюдениях утром, и, так как он был вполне убежден, что я прав, я немедленно приступил к поискам, чтобы как можно скорее фактически подтвердить свои догадки. Комиссар того квартала, где была совершена покража, отправился со мною на место действия, и мы нашли на земле глубокие следы подкованных башмаков: почва подалась под тяжестью человека. Эти следы могли доставить драгоценные улики, и я был почти уверен, что башмаки Гото отлично придутся по этим следам. Я пригласил Гафре отправиться к Гото со мной вместе, чтобы проверить свои предположения; но чтобы подозреваемый ничего об этом не знал, я придумал следующее средство: добравшись до квартиры Гото, мы подняли страшный шум у его дверей.

— Вставай же, полно тебе дрыхнуть! — кричали мы.

Он проснулся, отпер дверь, и мы вошли в комнату, пошатываясь, как люди слегка подгулявшие.

— Ну, поздравляю вас, — сказал Гото, — нализались спозаранку!

— Вот поэтому-то мы расщедрились тебе на подарок, — ответил я. — Посмотри-ка, какую покупку мы сделали дорогой.

И, развернув бумагу, я показал ему жирную жареную птицу.

— А, черт возьми, это индюшка.

— Да, любезный, это твой родной брат!..

Пока голодный Гото с наслаждением любовался на аппетитную птицу, переворачивая во все стороны и поднося ее к носу, Гафре нагнулся и, подняв его башмаки, сунул их себе в шляпу.

— А что стоит эта индюшка?

— Один кругляк и десять жанов.

— Прости Господи! семь ливров десять су! На эти деньги как раз можно купить пару башмаков.

Похититель башмаков радостно потер себе руки.

— Ну, а все-таки деньги не брошены, есть что поглодать! Да и аромат-то какой аппетитный! Уж этот Жюль никогда не даст маху.

— Неправда ли, ведь я знаток в этом деле?

— Правда, правда, а кто резать будет? Я отказываюсь. — Ладно, мы тебя угощать будем; есть у тебя ножик?

— Поищите там где-то, в комоде.

Я отыскал нож; оставалось только найти предлог, чтобы дать Гафре возможность улизнуть.

— Вот что, — сказал я ему, — сделай милость, сходи ко мне и предупреди, чтобы меня не ждали домой к обеду.

— Вот выдумали! Это чтобы вы тут все без меня покончили! Нет, слуга покорный, я ни с места, пока не съем своей доли.

— Мы есть не станем, пока не будет чем запить.

— В таком случае я велю принести пойла.

Он отворил окно и позвал кабатчика. Таким образом я ничего с ним не мог поделать.

Гафре, как и большая часть полицейских сыщиков, был в сущности добрый малый, но страшно жадный и лакомка. У него брюхо всегда было на первом плане, и хотя он овладел башмаками, что было самая важная статья, но я знал, что он не покинет нас, пока не разделит с нами завтрака. Поэтому я поспешил разрезать жаркое, и когда принесли вино, я сказал ему: «Ну, теперь живей, садись за стол — раз, два, три и проваливай».

Столом нам служила постель Гото, и мы принялись без вилок и ножей за свою трапезу, на манер древних. Ели мы, как водится, с аппетитом, и завтрак скоро был окончен.

— Ну теперь, — сказал Гафре, — я опять пришел в себя — будто полегче; не знаю как ты, но я никуда не годен, когда у меня пустота в желудке; другое дело, когда чемодан полон.

— Ну, в таком случае проваливай.

— Будь покоен, сейчас отправлюсь.

Он взял шляпу и вышел.

— Слава Богу, ушел, — сказал Гото тоном человека, которому хочется потолковать по душам. — Что же, друг Жюль, когда же меня наконец примут, не найдется разве местечка для Гото?

— Делать нечего, надо потерпеть, разом ничего не дается.

— А между тем от тебя зависит замолвить за меня словечко. Анри верит тебе, как оракулу, и тебе стоит только заикнуться…

— Ну уж только не сегодня: мы с Гафре ожидаем порядочной нахлобучки — вот два дня, как мы и не думали являться к докладу.

Я нарочно присочинил последнюю подробность: необходимо было дать ему понять, что я не мог знать о покраже, в которой я подозревал его участие. Опасаясь, что он захочет вставать, я навел разговор на интересную для него тему; он сообщил мне о некоторых делах.

— Ах, — сказал он, вздыхая, — если б я был уверен, что поступлю в полицию с жалованьем в 1200 или 1500 франков, то я мог бы доставить такие сведения!.. к тому же у меня теперь есть на примете такое прекрасное дельце — кража со взломом, — что просто подарочек был бы вашему Анри.

— В самом деле?

— Клянусь честью. Три вора — Бершье, Кафен и Линуа, я ручаюсь, что оплету их как нельзя лучше — это вернее смерти.

— Если так, то отчего же ты молчишь? Это для тебя был бы отличнейший дебют.

— Знаю, да только…

— Уж не меня ли ты боишься? Будь покоен, если ты будешь полезен, так я еще тебе сам помогу.

— Ах, друг мой, ты вливаешь мне бальзам в душу. Неужели ты намерен помочь мне?

— Штука немудреная, отчего же и нет?..

— Выпьем же, дружище, — воскликнул он вне себя от радости.

— Да, да, выпьем, за твое будущее поступление на службу.

Гото был на седьмом небе, он уже составил себе план службы, уже лелеял мечты счастия. Весь он преобразился, оживившись надеждой. Я страшно боялся, что ему придет охота встать с постели. Наконец постучали в дверь. Явился Гафре с полубутылкой водки, которую ему дала Аннетта.

— Трафа! — сказал, входя в комнату, мой жид-товарищ на еврейском языке, вероятно, любимом наречии нашего патрона, господина Иуды. Трафа и попался имеют одно и то же значение. Пока я наливал нашему новопосвященному полицейский нектар, Гафре поставил башмаки на место. Попивая, мы продолжали болтать, и я узнал в течение разговора, что Гото намерен выдать полиции именно тех воров, которые замешаны в покраже свинца. Дядя Бельмон, жестянщик в улице Теннери, был тот, кому они сбыли свою добычу.

Эти подробности были весьма интересны. Я сообщил Гото, что немедленно донесу о них г-ну Анри, а между тем велел ему разузнать, где воры провели ночь. Он обещал мне указать их ночлег, и, условившись, что нам делать, мы расстались.

Гафре не отходил от меня.

— Твоя правда, — сказал он, — когда мы остались наедине, — ведь и он там был, башмаки отлично приходятся по следам; вероятно, когда он прыгнул из окна, то всей тяжестью вдавил землю — следы очень глубокие.

По этим данным я тотчас же сообразил, какую роль намерен разыграть Гото в своем деле. Во-первых, ясно, что он совершил покражу с целью получить от нее выгоду, — но вместе с тем он гнался за двумя зайцами! Донося на своих товарищей, он достигал другой цели — подольститься к полиции и быть снова принятым на службу. Я пришел в ужас, сообразив эти комбинации. Негодяй, думал я, нужно постараться сделать так, чтобы он понес достаточное наказание за свои преступления, и если несчастные, которые помогали ему в его экспедиции, будут осуждены, то справедливость

требует, чтобы он разделил их участь. Я не мог расстаться с убеждением, что он виновнее их всех; насколько я знал его характер, мне казалось весьма вероятным, что он нарочно завлек их в это дело, чтобы потом воспользоваться всеми выгодами. Я даже не прочь был думать, что он совершил покражу один и счел удобным обвинить субъектов, на которых легко было навлечь подозрение, благодаря их известной порочности. Во всяком случае Гото был отъявленный мошенник, и я дал себе слово избавить от него общество. Я знал, что у него есть две любовницы: Эмили Симонэ, у которой было несколько детей от него и с которой он жил постоянно, и другая, Фелисите Рено, публичная женщина, до безумия влюбленная в него. Я задумал извлечь выгоду для себя из соперничества этих двух женщин, и на этот раз ревность должна была служить светочем для правосудия. Мы не теряли Гото из виду. После обеда мне объявили, что он в Елисейских полях с Фелисите. Я нашел его там и, отведя в сторону, сообщил ему, что нуждаюсь в нем для весьма важного дела.

— Вот видишь ли, — сказал я, — тебе необходимо дать себя заарестовать и отвести в участок, и ты там порасспросишь одного мазурика, которого мы препроводим туда же сегодня вечером. Ты будешь в чижовке раньше него; ему и в голову не придет, что ты баран, так что тебе легко будет завязать с ним дружбу.

Гото принял предложение с энтузиазмом.

— Ах, — вздохнул он с видом облегчения, — наконец-то и я попал в шпионы! Будь покоен, ты можешь рассчитывать на меня, но прежде всего я должен распроститься с Фелисите.

Он вернулся к ней, и так как наступила ночная пора, час приключений, то она не подумала бранить его за то, что он слишком рано покидает ее.

— Ну теперь, когда ты избавился от своей бабы, я сообщу инструкции. Ты ведь знаешь кабачок на Монмартрском бульваре, против театра «Varietes»?

— Как не знать — Брюнэ?

— Именно, отправься туда и поместись в глубине лавки, потребовав бутылку пива. Вскоре войдут два инспектора, подначальные Мерсье… Ты их, надеюсь, узнаешь?

— Конечно, узнаю! Кому ты это говоришь? Такому старому воробью!

— Ну и прекрасно; когда они войдут, ты подай им знак, что это ты; видишь ли, это необходимо, чтобы они не приняли тебя за кого-нибудь другого.

— Будь покоен, не примут.

— Понимаешь, ведь неприятная была бы штука, если бы они вдруг захватили какого-нибудь буржуа!

— Что за вздор! За кого ты меня принимаешь? А знак-то на что, скажи на милость? Я не дам им даже времени искать меня глазами.

— Ладно. Во-первых, им отдано распоряжение: когда они увидят тебя, то будут знать, как поступить. Тебя арестуют и отведут в участок, где ты останешься часа два-три, чтобы тот, кого ты должен исповедовать, видел тебя в участке, а потом не удивился бы, встретив тебя в депо.

— Не беспокойся. Я так сыграю комедию, что всякий подумает, будто я взаправду влопался. Ты увидишь, гожусь ли я для дела.

Он так и сиял от радости, и мне сделалось жалко, что я принужден обманывать его. Но когда припомнил его поведение относительно его товарищей, остаток жалости, которую я к нему чувствовал, живо рассеялся. Пожав мне руку, Гото удалился быстрыми шагами, не чувствуя под собой ног. Я со своей стороны с такой же быстротой поспешил в префектуру, где нашел упомянутых инспекторов. Один из них был некто Кошуа, состоящий теперь сторожем в Бисетре. Я дал им инструкции, как действовать, и последовал за ними. Они вошли в кабачок.

Едва успел он переступить через порог, как Гото, верный своему слову, дал о себе знать, ткнув себя пальцем в грудь, как человек, который хочет сказать: это я, тот самый… По данному знаку надзиратели подходят к нему и приглашают его показать свои бумаги. Гото с гордостью Артабана отвечает им, что бумаг у него не имеется.

— В таком случае сделайте милость, следуйте за нами.

И чтобы помешать ему бежать, если бы ему пришла в голову такая фантазия, его привязали на веревку. Во время этой операции на лице Гото изобразилась внутренняя радость: он был счастлив, что его связали, он благословлял свои узы и любовался на них с наслаждением. По его мнению, вся эта церемония совершалась ради пустой формальности, в сущности же он был, как известный древний философ, «свободен в своих узах». Он тихо прошептал полисменам: «черт меня подери, если мне удастся бежать. Граблюхи (руки) да ходули (ноги) связаны, какое уж бегство, ни дать ни взять — сахарная голова. Ну уж просто это называется работать на славу!».

Было около восьми часов вечера, когда Гото посадили в участок. В одиннадцать еще не привели того человека, которого он должен был подвергнуть исповеди. Может быть, он ускользнул, может быть, и сознался; словом, содействие барана становилось излишним. Уж не знаю, в какие догадки и предположения пускался Гото, но в конце концов, соскучившись ждать и вообразив, что его забыли, он просил доложить полицейскому комиссару, что он все еще там сидит.

— Ну и пусть его сидит, — ответил тот, — это меня не касается.

Ответ этот, переданный пленнику, не возбудил в нем ничего, кроме мысли о нерадении полисменов.

— Если бы еще я поужинал, — повторял он комически плачевным тоном, с той плаксивой веселостью, которая не столько трогательна, сколько смешна, — Им и горя мало, а тут свищи в кулак. — Он подзывал несколько раз то сержанта,

то капрала и поверял им свои горести; приставал даже к дежурному офицеру, чтобы тот его выпустил.

— Я вернусь, — уверял он, — если вам угодно; ну что вам стоит отпустить меня, ведь меня запрятали так только, не взаправду.

К его несчастью, офицер, который на другой день передал нам эти подробности, был не из легковерных и, напротив, отличался непоколебимым упрямством.

Гото мучился голодом; для людей, которые верят в угрызения совести, это могло послужить признаком… его невинности, офицер был не из таковских… да и к тому же он не мог ничего принимать на свою ответственность. Несмотря на все просьбы, он покрепче припер двери камеры, где сидел Гото, который не мог прийти в себя от небрежности полиции и изливал свою досаду в несвязном монологе, в котором высказывалось попеременно то его негодование, то примирение со своей судьбой.

— О, это уж слишком! Неужели они меня здесь оставят на ночь… да нет, это невозможно, Придут же они когда-нибудь, окаянные. Господи! а их все нет как нет… может быть, их что-нибудь задержало… Уж попадись они мне в руки, я им наклал бы в горб… впрочем, если тут не их вина, так и толковать нечего. Положительно, они бесят меня… Если меня посадили, собственно, для того молодца, а его нет… Тут нет здравого смысла… а я-то не евши сижу, с самого утра маковой росинки не было во рту… Ну не собаки ли они после этого! Впрочем, человек не всегда может поступать, как ему хочется. Эх, проклятая судьба! говорить нечего, славно я попался, а есть-то как хочется, так и гложет… Ну, что же делать, все это дела службы, придется поголодать — молодец! Не Бог весть какая беда, ведь не умрешь же с голоду, завтра лучше позавтракаю. О, я готов дать голову на отсечение, что они где-нибудь угощаются, бестии, брюхо набивают. Уж попадись они мне только голубчики… Да я никак сердиться начал!.. из-

за пустяков, стоит ли? Господи, кабы только у меня была моя утрешняя индейка!.. хоть бы друг мой Жюль тут случился… если бы он только знал!..

Пока Гото изливал свое горе в скорбных иеремиадах, поминая своего друга Жюля и далеко не подозревая последствий своего якобы мнимого ареста, я пробирался по узеньким переулкам на площадь Шателе, где нашел Эмили Симонэ в одном из тех жалких вертепов, в которых пожилые женщины держат крепкие напитки и девиц для мелкой братии. Девушки сами приводят гостей, которые, входя в это ужасное прибежище порока под предлогом выпить рюмку-другую, вдвойне отравляют себя. В таких-то кабаках сосредоточиваются самые жалкие подонки проституции и существуют, благодаря бедности или пьяному состоянию посетителей. Много бывших красавиц, осужденных на скромную суконную кацавейку, фланелевую юбку и грубые сабо, оканчивают там свою блестящую карьеру, когда они еще в полном блеске своей красоты гарцевали в амазонке на гордом коне или катались в тильбюри на модных гуляньях. Много видел я подобных примеров, возьму, например, подругу этой же Эмили, некую Каролину. Она была любовницей русского князя. В дни ее процветанья ей мало было ста тысяч в год, чтобы поддерживать свою безумную роскошь; у нее были экипажи, лошади, лакеи, были поклонники. Красота ее исчезла, и все испарилось вместе с ней; она сделалась подругой Эмили, может быть, еще более низкой, нежели она. Не выходя из состояния опьянения, она не протрезвлялась даже ни на минуту. Хозяйка ее, заботившаяся о ее туалете, так как у Каролины не было ни тряпицы, принуждена была наблюдать за ней беспрестанно, чтобы она не продала своих вещей. Не раз случалось ей возвращаться голой, как Ева, — пропив последнюю рубашку. Вот каково было положение этих несчастных тварей, которые почти все когда-то пользовались кратковременной роскошью. Те самые женщины, которые когда-то кидали

золото пригоршнями, теперь довольствовались куском черствого хлеба; к этой категории куртизанок принадлежат женщины, которые составляют наслаждение каменщиков, комиссионеров и водовозов. Эти бонвиваны низшего разбора содержат их, или же они сами, если только находятся в хороших обстоятельствах, содержат воров или по крайней мере помогают им переносить невзгоды заключения или недостатка заработка. Подруга княгини Каролины, Эмили Симонэ, принадлежала именно к этому разбору женщин; сердце у нее было необыкновенно доброе, я встретил ее у некоей мадам Бариоль. Эта дама — славная особа в своем роде и честная, насколько это возможно при ее профессии, — пользовалась некоторым авторитетом и уважением среди развращенного кружка, посещающего ее вертеп, отвратительный притон порока и сладострастья. Ее заведение в течение долгих лет служило прибежищем для этих увядших Цирцей которых последствия их бесчестия и время повергли безвозвратно в бездну порока, — это был настоящий старый сераль, где напрасно было бы искать удовлетворения эстетического чувства: прелестниц там не водилось! Бывшая Армида модного квартала Chausse d'Antin, превратившаяся в гнусную потаскушку, влачит там свое жалкое существование и истощает последние остатки сил в своем постыдном ремесле. Там блестящие туалеты из улицы Вивьен уступают место тряпью из Тампля, и та самая женщина, которая во время своего краткого владычества пренебрегала самыми изящными принадлежностями моды, находит удовольствие увешивать свои увядшие прелести жалкими нарядами тетушки Бариоль. Так извозчичья кляча с гордостью красуется в сбруе, которою пренебрегала во время о̀но, когда ее запрягали в блестящую коляску. Сравнение несколько пошлое, но верное. Любопытна и в особенности поучительна была история некоторых из пансионерок почтенной Бариоль. Может быть, нелишне будет сказать несколько слов о биографии этой уважаемой

матроны, которая в течение пятидесяти лет, подвергаясь кулачным и сабельным ударам, однако вышла победительницей из всех приключений, не получив ни одной царапины. Она была в дружбе с полицией, в дружбе с ворами, в дружбе с солдатами — словом, всеобщим другом, и однако она осталась невредимой в целой серии свалок, ссор и битв, при которых присутствовала. Горе тому, кто осмелился бы, поднимая драку из-за женщин, тронуть волосок на голове хозяйки Бариоль! Ее конторка была святилищем, которое щадили даже бутылки, пущенные в порыве гнева. Вот что называется быть любимой! Не было ни одной из ее питомиц, которая не пролила бы кровь из-за нее. Не раз случалось, что по окончании срока квартиры, когда деньги, требуемые на уплату хозяину, были истрачены, бедные девушки из кожи лезли, чтобы пополнить дефицит! Какое всеобщее уныние, когда хозяюшка принуждена была закладывать свои старинные серебряные кубки, чтобы удовлетворить неумолимого хозяина. В чем она будет подогревать свое подслащенное вино, которое она зачастую распивает в обществе разных кумушек, когда они коротают время, рассказывая друг другу в интимной беседе о своих печалях и заботах и прихлебывая винцо маленькими глотками? Эта милейшая мадам Бариоль, сколько раз закладывала она свои вещи в Mont de Piete, чтобы иметь возможность угостить устрицами и белым вином блюстителей порядка! Полиция находила ее великодушной, а воры — сострадательной. Пользуясь доверием последних, она никогда не изменяла им и с участием выслушивала жалобы молодцов, у которых не было работы, а если видела, что почва восприимчива и кого-нибудь из ее клиентов ожидает хорошая будущность, то не прочь была угостить его всеми благами в кредит. «Работайте, дети мои, — твердила она рабочим всех сортов и занятий, — чтобы быть хорошо принятым у меня, надо работать непременно». Но не то говорила она военному люду, который привлекала к себе бесконечными

заботами и ухаживаньем. Она вторила им во всем, проклиная вместе с ними полицию, и чтобы окончательно завладеть их расположением, в случае стычки или драки посылала за полицией только в крайней необходимости. Она ненавидела высшие чины, полковников, капитанов, лейтенантов и т. д., но остальные военные галуны любила до страсти. К унтер-офицерам она чувствовала особенную слабость, для них она была нежной матерью.

— Послушайте, миленький фурьер, — часто говорила она, — приведите мне такого-то сержанта…

— Ладно, мадам Бариоль, непременно! — слышалось в ответ, и в свободные от ученья часы дом ее не пустел ни на минуту.

Тетушка Бариоль существует и до сих пор, но я потерял ее из виду с того времени, как мне не было необходимости посещать ее заведение. В былое время она питала ко мне большое уважение, на какое только имеет право рассчитывать полицейский сыщик. Она обрадовалась несказанно, когда я объявил ей, что желаю видеть Эмили Симонэ, которая была ее любимицей. Она вообразила, что я намерен бросить платок в ее гарем.

— Если б ты даже и не спросил ее у меня, так я предложила бы ее, а не другую.

— Так вы, значит, ее любите?

— Еще бы не любить! Я обожаю женщин, которые заботятся о своих детях; уж если бы она спровадила их туда, я никогда бы и глядеть-то на нее не стала. Бедные, малые ангелы! Чем они виноваты, что родились на свет Божий! Последняя ее малютка — моя крестница… Вылитый портрет Гото, две капли воды. Хотела бы я, чтоб ты видел ее — растет она, как грибок, не по дням, а по часам. Девка будет молодец, уж и теперь все разумеет…

— Ну, скороспелка же она…

— Да, а хорошенькая какая — чистый херувим. Погодите-ка, вырастет, тогда, я уверена, будет приносить матери немалый доходец. С девчонками никогда не пропадешь.

— Знаю, знаю.

— То-то и есть; Бог благословил Эмили, уж не считая того, что за последнее время ей чертовски везет на мужчин.

— Разве Бог вмешивается в такие дела?

— Ах вы изуверы! Ничему-то вы не верите.

— А вы разве набожны, тетушка Бариоль?

— А еще бы нет, священников я не люблю, а Бога почитаю; вот не далее, как с неделю тому назад отслужила молебен, чтобы выиграть на Брюссельской лотерее, и билет клали под мощи.

— А свечку тоже ставили?

— Помалкивай лучше, язычник.

— Пари держу, что у вас верба поставлена у изголовья вашей постели?

— Конечно, нельзя же жить, как какая-нибудь безбожница.

Бариоль, не любившая, чтобы ее дразнили по поводу ее набожности, прервала разговор и стала звать Эмили.

— Поскорей справляйся! — кричала она. — Погоди, голубчик, я схожу посмотрю, скоро ли она будет готова.

— И прекрасно сделаете, я тороплюсь.

Эмили скоро появилась с каким-то капралом, который без оглядки распростился с ней тотчас же.

— Он позабыл и думать о своей выпивке, — заметила Бариоль, — и нам остается вылить из рюмки обратно в бутылку.

— Я выпью ее, — сказала Эмили.

— Это с какой стати?

— Вы шутите! За нее заплачено! (Пьет). Что это такое? Там, кажется, мухи были!

— Ничего, — заметил я, — это развеселит твое сердечко.

— А, это ты, Жюль! Какими судьбами попал в наши края?

— Я узнал, что ты здесь. Дай, думаю, зайду проведаю супругу Гото и мимоходом заплачу ей за угощенье.

— Агата, — скомандовала Бариольша, — подай водки! — и Агата, по обыкновению делая вид, будто спускается в погреб, побежала в кабак и принесла литр вина, от которого мимоходом отлила добрую четверть.

— Ишь ты, как расщедрился, — сказала мне Эмили, пока я наполнял ее стакан. — Спасибо, брат Жюль.

Она была очень рада, что я предложил ей промочить горло, но это был только первый шаг, чтобы заручиться ее доверием. Надо было незаметно навести ее на статью ее неудовольствий, на Гото. Я довольно искусно избегал резких переходов, чтобы не внушить ей никаких опасений. Прежде всего я начал с жалоб на свою судьбу. Такого сорта женщины любят вторить разным иеремиадам. Я видел, как многие из них заливались слезами при второй рюмке, а при третьей я становился их лучшим другом, и тогда они с готовностью выкладывали наружу все, что накопилось у них на сердце, — что у кого болит, тот о том и говорит. Эмили, которая в течение дня молча глотала слезы и затаивала грусть, не замедлила излить свои жалобы на неверность Гото и на своих соперниц.

— Хорош же гусь твой Гото! Стоит ли после этого любить его! Изменять тебе для какой-нибудь Фелисите! Между нами, Фелисите тебе и в подметки не годится, и я бы, клянусь честью, отдал предпочтение тебе.

— Ну полно насмехаться, Жюль! Я хорошо знаю, что Фелисите смазливее меня рожей, да что в этом толку, коли сердце у меня не в пример добрее; помнишь ты, как я ублажала его, изменника, да таскала ему гостинцев в каземат: уж по этому можно судить, хороша ли я была к нему!

— Что касается этого, так это сущая правда: ты о нем заботилась, я могу это засвидетельствовать.

— Неправда ли, Жюль, я на все была готова? А он-то, подлец… после этого лезьте из кожи вон для человека, уж я ли

для него не вела себя как следует? Кажется, меня ни в чем упрекнуть нельзя было; законная жена. Венчанная, и та, кажется, больше того не сделала бы.

— Правда, того бы не сделала.

— И потом это еще не все. Он знает, что я от него рожаю детей, это он отлично знает. Пока он корпел пятнадцать месяцев в кутузке, разве я рожала без него? Не сущая ли это правда? Уж это ли не добродетель? Пусть поищет другой такой, которая давала бы ему по десяти су, когда ему только вздумается! Ему бы следовало не забывать этого.

— Ты права, уж Фелисите не стала бы давать ему денег.

— Фелисите! Да она лучше бы пропила их, коли могла бы. Но таких-то всегда больше любят. (Она вздыхает, пьет и вздыхает снова). Уж коли мы здесь вдвоем с тобой, признайся ты мне — видел ты их вместе? Скажи правду, клянусь тебе честью Эмили Симонэ, с места мне не сойти, лопни мои глаза, пусть меня поймает первый, кого я обобрать захочу, — все что ты скажешь, не передам ему ни за что, рта не раскрою.

— Ну что же тебе говорить, все вы бабы болтушки!

— Честное слово (принимая торжественный вид), клянусь прахом умершего отца…

Эта клятва существует только у Цирцей низшего разбора. Откуда они почерпнули ее? Может быть, какая-нибудь прачка клялась прахом своей матери, но клясться прахом отца! Эти слова загадочнее, нежели туманный призрак, от которого содрогался Фонтенель. Они заключают в себе целую монографию. В устах женщины, которая претендует на честность, они всегда некстати, так и хочется ответить ей: знаю тебя, прелестная маска. Клятва эта, принимая во внимание множество лиц, которые ее произносят, всегда казалась мне до того смешной, что я никогда не мог слышать ее, не улыбнувшись невольно.

— Смейся, смейся, — сказала Эмили, — удивляюсь, что тут смешного? Постыдись хоть смеяться-то. Впрочем, с тобой толковать нечего, ты ничему не веришь. Пусть я буду самой

последней тварью на земле, клянусь всем святым, жизнью моего ребенка, — такой клятвы я никогда не произношу, — пусть на меня обрушатся все несчастья, а все-таки не проговорюсь ему. — И в то же время она плюнула и, перекрестившись два раза, сказала:

— Вот видишь, Жюль, уж, кажется, так верно будет, как будто сам нотариус скрепил.

Во время этого разговора наша водка вся вышла и была заменена другой бутылкой; чем больше мы пили, тем больше Пенелопа моего приятеля становилась настойчивой и все уверяла меня в своей скромности.

— Голубчик, Жюль, что тебе стоит сказать; обещаю тебе, что он ни словечка не узнает.

— Ну, что уж с тобой делать, ты девка хорошая, так и быть, уж скажу тебе кое-что, только смотри, чур держать язык за зубами, а не то беда; ведь Гото мой друг, слышишь ли?

— Ты ничем тут не рискуешь; когда мне что-нибудь доверят — я могила.

— Ну так слушай! Сегодня вечером я отправился в Елисейские поля и видел твоего дружка с Фелисите; они поспорили: она твердила, что он поместил тебя в своей комнате в Сен-Пьер-а-Беф… А он клялся, что это все неправда, что с тобой он все покончил. Ты понимаешь, что при ней я не мог не поддакивать ему. Вот они и помирились; поговорили мы еще немножко, и я вывел заключенье, что, вероятно, они сегодня ночуют вместе с Фелисите в меблированных комнатах, на площади Пале-Рояля.

— Ну, уж это неправда, и быть не может, я знаю, что он сегодня с друзьями.

— С Кафеном, Бершье и Линуа? Гото мне говорил об этом…

— Неужели говорил? А как же он наказывал мне не говорить тебе ни слова. Вот ведь какой он, а потом, случись с ним какая беда, так мне же будут колотушки…

— Уж не трусишь ли ты? Я никогда еще не подводил друга. Хотя я и шпион, так все-таки у меня чувство есть.

— Знаю, знаю, голубчик Жюль, что ты попался в чертову роту только потому, чтобы не вернуться в луга (каторга).

— Как бы там ни было, но если уж кому насолить, то никак не Гото.

— Ты прав, мой милый, никогда не следует подводить приятеля; а мой-то куда отправился со своей павой?

— Хочешь знать, так я скажу тебе: они отправились дрыхнуть к Бершье. Адреса дать не могу, они мне не сообщали его.

— А, они у Бершье, славно же я их спугну!

— Я пойду с тобой вместе, далеко ли он живет?

— Знаешь улицу Бон-Пюи?

— Да, знаю.

— Ну, так там у Лапра, на четвертом этаже; будь покоен, достанется ей от меня, шельме! Жюль, есть у тебя медная монета? Я ей расквашу морду, так что она у меня помнить будет.

— У меня нет меди.

— Все равно, у меня есть ключ в платке. Погодите, голубчики, покажу я вам. У меня предчувствие было с утра, что выйдет что-нибудь.

— Послушай, тебе не с руки показываться туда, если их там нет. Ты ведь доверяешь мне: я войду первый; если я останусь, ты будешь знать, что я накрыл птиц в гнезде.

— Это не совсем глупо; надо увериться хорошенько прежде, нежели шум подымать.

Мы пришли в улицу Бон-Пюи; я вхожу; удостоверившись, что Бершье дома, я возвращаюсь к Эмили, рассудок которой окончательно помутился от вина и ревности.

— Ну, не досадно ли это! — сказал я. — Они только что ушли с Бершье и его женой ужинать к Линуа; я расспрашивал где, не могли сказать мне.

— Может быть, просто не хотели; но это не беда, я знаю, где живёт Линуа: у своей матери. Пойдем вместе, ты отправишься вперед, чтоб ничего не подозревали.

— Да когда же конец этим странствиям? Ты намерена таскать меня за собой до утра, что ли?

— Жюль, голубчик, не покидай ты меня; не отказывайся, лети со мной, вот увидишь, что не раскаешься потом. Я тебя расцелую за это…

Скажите, мог ли я устоять против поцелуя? Летим вместе в улицу Жакеле; я лезу в шестой этаж, где нахожу Линуа, которого знал только по имени.

— Я отыскиваю Гото, — сказал я, — не видали ли вы его?

— Нет, — отвечал он, и так как он уже лег, то я пожелал ему спокойной ночи.

— Надо же быть такой неудаче! Еще раз остались с носом: они приходили сюда, да пошли за Кафеном, который обещал угостить их вином… Только вот в чем дело, где живет этот Кафен?..

— Об этом я тоже ровно ничего не знаю и понятия не имею, где он живет; знаю только, что он за женщинами бегать горазд, поэтому я предполагаю, что он, вероятно, сидит в одном доме, у женщин на площади Во. Пойдем туда, сделай милость.

— Да что ты, хочешь избегать весь Париж из конца в конец? Уж поздно становится, мне некогда.

— Бога ради, Жюль, не покидай меня, прошу тебя, меня еще подхватит полиция, чего доброго.

Так как это одолжение могло иметь выгоды для меня, то я не подумал долго ломаться. Мы пошли с Эмили по направлению к площади Во и мало-помалу, останавливаясь и набирая сил в кабаках по пути, мы добрались до того места, где я надеялся получить необходимые для меня сведения. Мы летим как ветер — сравнение немного смелое, так как, невзирая на то, что я поддерживал ее, Эмили едва стояла на ногах и плелась с великим трудом. Но чем более она; слабела, тем болтливее становился ее язык, так что наконец она разоблачила мне все сокровенные мысли своего неверного друга.

Я узнал все, что мне надо было знать насчет Гото, и с радостью мог убедиться, что не ошибся, считая его способным руководить ворами, которых он намерен был предать в руки правосудия. Был час ночи, а мы еще не окончили своих поисков. Эмили все еще надеялась найти Гото, а я отыскать Кафена, как вдруг нам встретилась одна женщина, прозванная «Луизон-болтушкой». Она сообщила нам, что Кафен был с некоей Эмили Таке и что он проведет ночь у Бариоль, или у Бланденши, которая занималась таким же ремеслом.

— Спасибо, голубушка, — сказала Симонэ своей сотоварке, которая доставила ей такие драгоценные сведения. — Я так и знала, Бершье со своей женой, Линуа и Кафен со своими кралями, Гото со своей Фелисите — у каждого есть по душеньке: подлец! Или я или он должны умереть! Мне все равно умирать (скрипит зубами и рвет на себе волосы). Жюль, не покидай меня, я должна убить их во что бы то ни стало.

Во время этого припадка ярости и мести мы продолжали идти и добрались до угла улицы Арсис.

— Это ты, Мели, что тебе надо? — послышался хриплый голос, и при тусклом свете фонаря мы увидели женщину, приютившуюся на земле в самой неприличной позе. Она встала и подошла к нам.

— Это маленькая Маделен, — воскликнула Эмили. — Ах, милая, не знаешь ли, где Кафен, может быть, ты видела его сегодня вечером?

— Как не знать — все они у Бариольши торчат.

Для знакомых не может быть неурочного часа, Эмили была свой человек. Мы вошли и узнали, что Кафен действительно тут, но Гото еще не являлся. При этом известии мадам Гото вообразила, что от неё скрывают ее сокровище.

— Вы только поддерживаете разврат, — кричала она, обращаясь к старухе Бариоль, — подавай мне моего мужа сейчас же, старая карга!

Уж я не помню хорошенько всех эпитетов, которыми она осыпала Бариоль в продолжение четверти часа. Это был перекрестный огонь, поддерживаемый рюмками абсента, которые еще более поддавали жару ревности моей спутнице.

— Скоро ты кончишь со своими глупостями? — прервала ее тетушка Бариоль. — Почем мы знаем, где твой ненаглядный, может быть, он на мельнице с чертями муку мелет. Ведь не сторожа мы для него, в самом деле, что ты пристаешь? Не усмотришь за ними, за такими-то молодцами! Если ты думаешь, что он с Кафеном, так ступай, посмотри сама, он там в комнате с Таке.

Эмили не заставила себя повторять это позволение и тотчас же отправилась сама на рекогносцировку.

— Ну, довольна теперь твоя душенька? — сказала ей Бариоль, когда она вернулась.

— Там один Кафен.

— Ну, что я тебе говорила?

— Да где же он, наконец, чудовище он такое?

— Если хочешь знать, я тебя поведу туда.

— Ах, поведи, сделай милость, сделай это для меня, Жюль!

— Да ведь далеко отсюда до отеля д'Англетер.

— Ты думаешь, он там?

— Непременно, он туда пошел на часок-другой, дожидаясь, пока Фелисите покончит со своими делами.

Эмили не сомневалась ни на минуту в том, что я отгадал наверно, и ей уже не сиделось на месте. Она так и рвалась в гостиницу «Англетер» и не дала мне покою, пока мы не предприняли путешествие туда. Странствие показалось мне длинным, так как моя дама была нетверда на ногах и я с трудом поддерживал свое равновесие. Во всю дорогу мне пришлось то тащить, то почти нести ее на руках. Наконец мы с грехом пополам добрались до дверей вертепа, где она надеялась встретить свой «предмет». Мы обошли все залы — Гото

все нет как нет. Не опасаясь помешать любовным тет-а-тет, мы заглядывали во все отдельные каморки, расположенные по обеим сторонам коридоров. Гото там не было, и соперница Фелисите была вне себя от нервного раздражения. Глаза ее выходили из орбит, губы покрылись пеной, она плакала, вопила, как будто бесом одержимая. Бледная, растрепанная, с лицом страшно искаженным, с вытянутыми на шее жилами — она была похожа на труп, оживленный гальваническим током. Ужасное действие любви и водки, ревности и вина! Однако среди припадка, которому она была подвержена, Эмили не теряла меня из виду, она цеплялась за меня и клялась не покидать меня до тех пор, бока не отыщет неблагодарного, который был причиной ее терзаний. Но мне более нечего было узнавать от нее, и я так устал таскать ее за собой, что искренно желал отвязаться от нее. Я сказал ей, что пойду узнать, пришла ли Фелисите — это легко было сделать, так как в этом доме был консьерж у ворот.

Эмили, до сих пор не имевшая основания жаловаться на меня, могла только еще более порадоваться этим новым доказательствам моей заботливости. Я вышел, и она даже не обнаружила желания следовать за мной; но вместо того, чтобы идти исполнять свое поручение, я отправился прямо в гвардейские казармы Шато-д'О, где просил начальника поста немедленно заарестовать эту женщину и держать ее в секретной.

Конечно, мне тяжко было решиться на такую крайность; после всех своих мучений и треволнений Эмили заслуживала лучшей участи, по крайней мере на эту ночь. Как иногда бывает тяжело исполнять свою обязанность! Никто лучше меня не знал, где находится возлюбленный, которого она с таким упорством отыскивала. Не должен ли я был лишить себя удовольствия оправдать его в ее глазах, когда она считала его таким виновным?

Может быть, нелишне будет объяснить, прежде нежели продолжать рассказ, для чего именно я велел заарестовать

Гото: для того, чтобы не дать ему времени скрыть следов своего участия в покраже, опираясь также на свои отношения к полиции. Но какая цель была запирать в кутузку нежную Эмили? Дело в том, что я должен был опасаться ее возвращения к Бариольше, где она, под влиянием опьянения, могла бы снова проболтаться и тем помочь Кафену. Мне на это возразят, что она была почти не в состоянии держаться на ногах. Не спорю, но разве она не могла, преследуемая своей идеей fixe, хоть на четвереньках приползти к своим пенатам и тогда, если язык ее развязался бы — прощай все мои труды и исследования!

Приняв все эти предосторожности и овладев Гото, мне оставалось только позаботиться о его трех сообщниках: теперь я знал, где найти их. Я взял с собою двух агентов префектуры и вскоре предстал к тетушке Бариоль, на этот раз во имя закона.

— А, — сказала она, — как только я давеча увидела тебя здесь, сейчас смекнула, что тут дело нечисто! Что мне предложить вам, господа? — прибавила она, обращаясь к моим спутникам. — Вы, наверное, чего-нибудь пожелаете, пожалуйста, говорите не стесняясь. Маленькую бутылочку чего-нибудь? — С этими словами она нагнулась и, пошарив в целой куче тряпья, вытащила небольшую позолоченную фляжку, содержащую драгоценную жидкость. — Что делать, приходится припрятывать что получше! С этими девицами иначе нельзя. Знаете ли, не красна жизнь, когда приходится иметь дело с женщинами! Счастливы те, кому есть чем жить. Взгляните на меня, просто не на что купить себе кресла порядочного… Мое-то вон все облезло, все кости наружу повыскакивали.

— Ах, как хорош ваш диван, какая славная щетина из него выглядывает и лохмотья висят! — вмешалась в разговор молоденькая девушка, которая при нашем входе спала, положив локти на стол в одном из углов зала. — Про вас с ним можно сказать, что вы как Филемон и Бавкида.

— А, это ты, маленькая Реаль, а я тебя и не заметила. Что ты там ноешь со своим Филемоном и Бакв… Как ты сказала? Повтори.

— Я говорила, что ваше кресло, как треножник Пифии…

— Ну ладно, ладно, нечего зубы скалить — вот погоди, каково оно будет, как я велю обить его заново.

— Вот молодец девка, — сказала она, указывая нам на девушку, — тоже образование получила, не то что мы грешные. Хорошо, как есть родители. Да, впрочем, и с меня довольно знания, слава Богу, умею проедать свое добро. Поди-ка сюда, Фифин, раздавим-ка эту бутылочку, и для тебя рюмочка найдется, только чур другим не рассказывать.

Разлили вино, на поверхности наших стаканов появился двойной ряд жемчуга.

— Славная штука, — заметила Фифина.

— Ну что же, господа, кому вы остатки-то припасаете? Чокнемся, братцы; за ваше здоровье, дети мои. Как подумаешь, — как мы тут дружно беседуем, а умирать придется. А славно жить в дружбе да в согласии. А умирать придется — это и говорить нечего, вот что меня мучает; нет ни минуты, чтобы это мне в голову не приходило… Но главное дело — надо быть честным, тогда можно ходить подняв голову… на чужое добро не зариться. Я во всяком случае могу умереть. хоть сию минуту и не упрекну себя ни в булавочной головке… А кстати, зачем вы ко мне пожаловали, ребята, в такой поздний час — не для моих красоток? Все они тихие да кроткие, как овечки. Вот вам образчик Фифина, да и то она еще самая буйная изо всех. Кстати, что ты поделал с моей Милькой?

— После расскажу, дай мне свечу.

— Держу пари, что ты отыскиваешь Кафена. Ну и слава Богу, гора с плеч — эдакий ведь подлец, жил все время на счет моих девок.

— Юбочник! — воскликнула Фифина.

— Да уж признаюсь, от него не часто увидишь деньги, — прибавила Бариольша. — От таких людей хорошо было бы очистить весь Париж; вот кабы их всех запрятать куда следует.

Она хотела повести меня в комнату, где был Кафен, но я знал дорогу не хуже нее и отправился на поиски один. Войдя в комнату, я объявил Кафену, что он мой пленник.

— Что случилось? — воскликнул он, просыпаясь и вскакивая с постели. — Как, Жюль! Это ты меня подвел!

— Что делать, любезный, я ведь не волшебник, и если бы тебя не видали, так я бы и не подумал нарушать твой сон.

— Ах, все ты со своими фокусами! Нет, друг сердечный, я старый воробей, меня не проведешь!

— Как тебе угодно, это твое дело, но если то, что говорят про тебя, верно, тебя спровадят в луга — это как Бог свят.

— Да, верить всему, что ты говоришь…

— Ты, верно, хочешь, чтобы тебя носом ткнули, тогда только признаешься. Послушай, мне нет никакой охоты клеветать на тебя; говорю тебе, что сам догадаться я не мог и если б мне не рассказали, что вы тырили (воровали) свинец на бульваре Сен-Мартен, где вас чуть-чуть было не остановил сторож, — так я и не побеспокоил бы тебя. Ясно теперь? Из четырех товарищей один соткровенничал (признался) — отгадай кто; если назовешь его, так я тебе скажу, что это он.

Кафен, подумав немного, быстро поднял голову, как ретивый конь:

— Послушай, Жюль, между нами, я вижу, действительно замешался подлец, который съел кусок (выдал) — сведи меня к комиссару, я тоже съем. Надо же быть такой сволочью, чтоб продавать товарищей на чистые деньги, в особенности, когда сам замаран. Ты — другая статья, известное дело, что ты в полиции служишь поневоле, — а я все-таки уверен, что если бы тебе случилось хорошее дело обделать, так ты наплевал бы и на полицию.

— Верно говоришь, друг любезный, если б я раньше знал, что теперь знаю, так не был бы здесь, а теперь уж делать нечего — дела не воротишь.

— Куда ты теперь сведешь меня, скажи хоть по крайней мере?

— В Шателе, и если ты решился признаться во всем, то я велю предупредить комиссара.

— Да, да, позови его непременно, я хочу подвести эту бестию Гото, — никто, кроме него, не мог выдать меня.

Когда явился комиссар, Кафен не замедлил признаться ему в своем преступлении, но в то же время позаботился кругом оплести своего друга Гото, выставив его своим единственным сообщником. Как видите, он не был ложным братом. Другие его сообщники выказали не менее добросовестности; застигнутые также в постелях и допрошенные отдельно, они не могли не сознаться в своей вине. Гото, которого они обвиняли в своем несчастии, был единственным лицом, на которого каждый из них жаловался. Невзирая на это благородство чувств, достойное быть занесенным в сборник Morales en Actions, добродетельное трио было сослано в галеры и вероломный Гото также был отправлен с ними в компании. Он и теперь в галерах, где, вероятно, остерегается упоминать о некоторых любопытных подробностях своего ареста.

Эмили Симонэ отделалась заключением, продолжавшимся несколько часов. Когда ее выпустили на волю, она была как в чаду от количества выпитых ею спиртных напитков: она ничего не видела, ничего не слышала и потеряла память обо всем, что случилось. Придя в себя, первое слово, которое она произнесла, было имя ее любовника. Когда ее приятельницы ответили ей, что он в каземате, она воскликнула: «Несчастный! Какая нужда была ему искать свинец на крышах; разве около меня у него не было более чем нужно?» С этих пор несчастная Эмили была безутешна; с утра

до вечера она была мертвецки пьяна... Ужасающее действие любви и водки, водки и любви.

Незначительное воровство доставило мне случай нарисовать самые гнусные картины; а между тем это только слабая тень ужасной действительности, от которой власть, проводник цивилизации, избавит нас, когда захочет. Допускать, чтобы вертепы, где люди гибнут физически и нравственно, постоянно были открыты — это противно нравственности, оскорбление природы, преступление против человечности. Пусть меня не обвиняют в излишней вольности, но эти страницы не похожи на рассказы Петрона, разжигающие воображение и распространяющие безнравственность и разврат. Я описываю испорченные нравы не для того, чтобы распространять их, но чтобы поселить к ним ненависть: всякий, прочитавший эту главу, не может не почувствовать к ним отвращение, так как они доводят человека до последней степени отупения.

Глава тридцать седьмая

Я страшусь своей славы. — Классификация воров. — Шайка «rouletiers». — Я едва не попался. — Ужасный Лимоден. — Воровка выдает самое себя. — Злополучный беглец. — Коварный поцелуй. — Корзина с бельем. — Современная Сафо. — Свобода — первое благо на свете. — Героизм дружбы. — Преступление имеет свои добродетели

Когда смышленый человек сводит все свои наблюдения к одной точке, то редко случается, чтобы по своей специальности он не приобрел известного рода компетентности. Вот в двух словах история моего великого искусства отыскивать воров. Как только я сделался тайным агентом, меня не покидала одна мысль и все мои старания были направлены на то, чтобы по возможности ослабить шайку злодеев, которые, пренебрегая трудом, ищут средств к существованию в более или менее преступных посягательствах на чужую собственность. Я не заблуждался нисколько насчет свойства успеха, к которому я стремился, и не имел безумной претензии думать, что мне удастся искоренить воровство. Но, объявив ворам открытую войну, я надеялся ослабить преступление. Смею сказать, что мои счастливые дебюты превзошли собою ожидания и г-на Анри, и мои собственные. По моему мнению, моя слава возрастала даже слишком быстро, так как моя репутация разоблачала тайну моего ремесла, а, приобретши известность, мне придется отказаться от службы при полиции или служить при ней явно. Поэтому задача моя становилась вдвойне затруднительной. Впрочем, препятствия не страшили меня, и так как у меня не было недостатка ни в усердии, ни в преданности, то я полагал, что мне еще возможно будет сохранить хорошее мнение, которое обо мне имело мое начальство. Впредь немыслимо было притворяться перед мошенниками. Маска спала, и на их глазах я был сыщиком, и больше ничего. Однако я находился в лучших

условиях, нежели большинство моих сотоварищей, и когда мне невозможно было скрываться, то и тогда последствия моей тайной деятельности шли мне впрок при помощи сохранившихся связей, частью вследствие громадного запаса разных сведений и примет, которые я занес в свою память и твердо хранил. Я мог бы, по примеру некоего короля португальского, только еще безошибочнее его, судить о людях по их наружности и указывать сбирам на опасных субъектов, от которых следует избавить общество. В это время полиция обладала полномочием административных арестов, и это доставляло обширное поле для моих способностей физиономиста. Но мне казалось, что в интересах публики необходимо было действовать весьма осторожно и осмотрительно. Конечно, для меня было бы весьма легко переполнить все тюрьмы; воры (а таковыми называли всех тех, кто раз судился за проступок противный честности) сознавали, что судьба их была в руках первого и даже последнего из агентов и что достаточно было справедливого или ложного доноса, чтобы навсегда закабалить их в Бисетре. Те в особенности, которые судились вторично, т. е. рецидивисты, были более других подвержены доносам, которых власти не заботились даже контролировать. Кроме того, в столице находилось множество субъектов, пользовавшихся дурной славой, заслуженно или нет, с которыми обращались также без всякого стеснения.

Этот способ имел свои важные неудобства, так как зачастую наказывали невинных, как и виновных, исправившихся наравне с неисправимыми преступниками. Конечно, когда на какой-нибудь праздник или торжество в Париже стекалось множество иностранцев, то весьма удобно было произвести так называемый погром или облаву, чтобы несколько очистить столицу. Но когда торжественный случай миновал, приходилось снова выпускать на волю тех пленников, против которых имелись одни подозрения, и таким образом из тюрем выхо-

дили целые, уже организованные ассоциации преступников, образовавшиеся при помощи той самой меры, при содействии которой хотели сделать их безопасными. Некоторые из них, уже отрешившиеся от своих прежних преступлений и начавшие честную жизнь, слова возвращались к своим преступным привычкам и старинным, уже забытым связям. Другие, пользующиеся репутацией негодяев, уже готовы были переменить образ жизни, но, брошенные снова среди разбойников, погибали безвозвратно. Из этого видно, что принятая система была крайне пагубна, и я отыскал другую, состоявшую не в том, чтобы преследовать всех подозрительных личностей, но чтобы накрывать на месте преступления всех тех, кого справедливо подозревали. Ввиду этого я подразделил ворон по особым их специальностям и по каждой категории собирал точные справки, чтобы узнать обо всем, что происходило. Не совершалось ни одной покражи, чтобы до моего сведения не были доведены имена главных виновников; очень часто мои шпионы, мужчины или женщины, — у меня их было много обоего пола — также участвовали в преступлениях. Я знал об этом, но убежденный, что их не замедлит выдать в свою очередь кто-нибудь из их товарищей, я оставлял их в покое до норм до времени.

Эта терпимость была такого рода, что правосудие при этом ничего не теряло; доносчики и их жертвы, все рано или поздно приходили к одной цели — к каторге: ни для кого не существовало безнаказанности. Конечно, мне неприятно было прибегать к таким средствам, и в особенности умалчивать о тех, в виновности которых я был уверен, но безопасность города Парижа была для меня на нервом плане во всех моих соображениях. Если я заявлю о том, что знаю, думал я, когда имел дело с подобными доносчиками, то дам возможность обвинить только одного негодяя; но если я не пощажу его сегодня, то пятьдесят из его сообщников, которых он готов предать

в мои руки, ускользнут от кары правосудия — и этот расчет заставлял меня заключать известную сделку, продолжающуюся до тех пор, пока она была полезна для общества. Между мною и ворами продолжала существовать такая же непримиримая вражда, но я допускал неприятельских парламентеров, молчаливо соглашался на перерывы и перемирия, которые оканчивались сами по себе при первом проступке. Один доносчик становился жертвой другого. Таким образом, по моей системе сами воры становились орудиями своей же гибели, подводя друг друга. Вот какова была моя метода, она была превосходна, и в доказательство скажу, что в течение семи лет я предал в руки правосудия не менее четырех тысяч преступников. Целые категории воров подвергались преследованиям — в том числе так называемые «rouletiers» (занимающиеся грабежом путешественников). Мне очень хотелось окончательно искоренить их, и я попытал один случай, который чуть было не послужил к моей гибели. Я никогда не забуду слов, сказанных Анри по этому поводу: недостаточно хорошо сделать что-нибудь, надо доказать, что поступаешь хорошо.

Двое из самых отчаянных rouletiers — Горне и Доре, испугавшись моих стараний искоренить их профессию, вдруг обнаружили необыкновенную преданность полиции и в весьма короткое время дали мне возможность арестовать множество из своих товарищей, которые были все осуждены и сосланы.

Они, по-видимому, были весьма усердны, им я был обязан многими весьма важными разоблачениями, они помогли мне отыскать нескольких укрывателей, тем более опасных, что в торговле они пользовались репутацией безукоризненной честности. После подобных услуг я надеялся, что на них можно положиться, и стал просить, чтобы их допустили в полицию в качестве тайных агентов, с жалованьем по сто пятидесяти франков в месяц. По их словам, они ничего более не желали, — этой суммой ограничивалось их честолюбие; я

верил им и, так как видел в них своих будущих коллег, то относился к ним почти с безграничным доверием. Далее увидят, как они оправдали его.

Несколько месяцев тому назад в Париж прибыло двое или трое искусных разбойников, и в столице они не дремали. В префектуру поступали жалобы одна за другой; они выкидывали разные штуки с непостижимой смелостью, и их тем более было трудно поймать на деле, что они выходили только ночью и во время своих экспедиций всегда были вооружены с головы до пят. Овладеть этими разбойниками было бы для меня большой славой; чтобы выполнить эту задачу, я решился употребить все средства и подвергнуться, если нужно, всевозможным опасностям. Однажды Горне, с которым я часто говорил об этом деле, сказал мне: «Послушай, Жюль, если желаешь заграбастать Майера, Виктора Марке и его брата, то остается только одно средство — прийти к нам ночевать, и тогда мы можем выйти вместе в самый удобный час».

Я поверил искренности Горне и согласился поселиться временно в квартире, которую он занимал вместе с Доре, и вскоре мы предприняли вместе ночные экспедиции по дорогам, которые чаще всего посещал Майер с товарищами. Мы не раз встречали их там, но принуждены были оставлять в покое, так как хотели захватить их не иначе, как на месте преступления или с вещественными доказательствами. Мы уже совершили несколько походов без всяких результатов, как вдруг я заметил в своих товарищах нечто такое, что возбудило мои подозрения. Их обращение со мной вдруг сделалось натянутым — может быть, подумал я, они желают сыграть со мной какую-нибудь скверную штуку. Я не мог читать в их мыслях, но на всякий случай я без их ведома запасся пистолетами.

Однажды ночью, когда мы должны были предпринять экспедицию около двух часов, один из них, Доре, вдруг стал жаловаться на страшные спазмы и невыносимую боль в желудке. Боль усилилась, Доре стал метаться, корчиться

и стонать; ясно было, что в таком состоянии он не может держаться на ногах, поэтому мы отложили свое путешествие до другого дня, и так как не оставалось более ничего делать, я перевернулся на другой бок и заснул. Через несколько времени я вскочил на постели как встрепанный: мне послышалось, что кто-то стучит в дверь. Стук повторился; кто там пришел? Чего им? Не меня ли спрашивают? Нет, быть не может, мое убежище никому неизвестно. Между тем один из моих товарищей встал; я знаками велел ему не двигаться. Но он вскочил с постели. Тогда я шепотом прощу его прислушаться, но дверей не отворять. Он становится около дверей. Горне, спавший в смежной комнате, не трогается с места. Между тем стук продолжается, и из предосторожности я торопливо одеваюсь. Доре, последовав моему примеру, вернулся к двери прислушиваться; но пока он там стоял, его любовница бросила на меня такой выразительный взгляд, что я тотчас же смекнул, в чем дело; приподняв тюфяк, я увидел громадную связку поддельных ключей и лом. Все стало мне ясно, я сразу отгадал заговор и, чтобы разрушить его, поспешил, не говоря ни слова, бросить ключи в шляпу, а лом положить в карман панталон. Потом, приблизившись к двери, я стал прислушиваться в свою очередь — говорили тихо, и я не мог расслышать слов, однако я понял, что этот ранний визит имеет особую цель. Отозвав Доре в соседнюю комнату, я предупредил его, что постараюсь узнать, в чем дело.

— Как тебе угодно, — сказал он.

В это время постучали снова. Я спрашиваю, кто там.

— Не тут ли живет мосье Горне? — раздается медовый голос.

— Горне живет этажом ниже, постучите в такую же дверь.

Стучавший сошел вниз, а я беззвучно отворил дверь, вышел и в два прыжка очутился у окна на лестнице. Прежде всего я сбросил вниз лом и уже приготовился бросить ключи, но позади меня кто-то вошел, я оглянулся и узнал полицей-

ского по имени Спикет, состоящего при судебном следователе. Он также узнал меня:

— А, вас-то и надо, — сказал он, — вас повсюду разыскивают.

— Меня отыскивают, для чего?

— Да так, судебный следователь, мосье Виньи, желает вас видеть и переговорить с вами.

— Только-то? В таком случае я поскорее оденусь и потом весь к вашим услугам.

— Поторопитесь и пойдемте вместе.

Одевшись, мы сошли вниз. Комната была наполнена жандармами и полицейскими, посреди них находился сам Виньи. При моем появлении он немедленно прочел мне распоряжение арестовать меня, а также моих хозяев и их жен; затем он велел произвести обыск. Мне нетрудно было сообразить, откуда на меня обрушивалась беда, в особенности, когда Спикет, приподняв тюфяк и удивившись, что не нашел там ничего, бросил особенный взгляд на Горне, который также имел сконфуженный вид. Его разочарование не ускользнуло от меня. Я тотчас же заметил, что он был очень раздосадован. Что касается меня, то, вполне успокоившись, я сказал: «Господин судья, я с прискорбием убеждаюсь, что кто-то, в надежде подольститься к вам, поставил вас в неловкое положение. Вас обманули — в этом нет сомнения. Здесь нет ничего подозрительного, да и к тому же Горне не потерпел бы этого — неправда ли, Горне? Да отличайте же наконец господину судье».

Он не мог не подтвердить моих слов, но произнес их шепотом, и не надо было быть колдуном, чтобы догадаться, что у него на душе.

По окончании обыска нас посадили в две наемные кареты, предварительно связав, и повезли в тюрьму, где поместили в небольшую камеру, называемую мышеловкой. В полдень нас подвергли допросу и к вечеру препроводили двух моих товарищей в Форс, а меня в Сент-Пелажи. Не знаю, как это

случилось, но связка ключей, которую я хранил в шляпе, не была замечена всеми наблюдателями, которые обыкновенно наполняют коридоры тюрем. Хотя меня не позабыли обыскать, но не нашли ничего, и я, конечно, был этим очень доволен. Я немедленно написал своему начальству, чтобы сообщить ему о заговоре, который замышляли против меня; мне нетрудно было убедить его, что я невинен, и два дня спустя мне возвратили свободу. Я явился в префектуру с ключами, так счастливо спасенными мною от зоркого взгляда полиции; я был счастлив, что удачно избегнул опасности, так как я был на волоске от гибели. Не будь тут любовницы Доре и не будь моего присутствия духа, без сомнения, я слова подпал бы под власть моих тюремных сторожей… Если бы меня накрыли с воровскими инструментами, то в качестве беглого каторжника меня наверное осудили бы вторично, и снова пришлось бы мне вернуться на каторгу. Г-н Анри очень журил меня за такое безрассудство, которое едва снова не погубило меня.

Горне и Доре недолго оставались в Форсе: по выходе их оттуда я посещал их не раз, не давая, однако, понять им, что я подозреваю их в коварстве и измене. Однако, желая как можно скорее отомстить за себя, я приставил к ним барана, который не замедлил донести мне, что они провинились в воровстве, — доказательства приискать было нетрудно. Они были арестованы и осуждены на заключение; им было время помянуть меня в течение четырех лет, которые они должны были высидеть по моей милости. Когда приговор, который решал их судьбу, был произнесен, я пришел посетить их. Они плакали от ярости, когда я рассказал им, каким образом мне удалось узнать и разрушить их план. Горне, снова препровожденный в тюрьму Орэ, откуда он когда-то бежал, измыслил средство мщения, которое, однако, не удалось ему. Под видом искреннего раскаяния он просил призвать священника и, исповедуясь во всех своих грехах, выдал ему мно-

жество совершенных им проказ, причем ловко приплел мое имя. Исповедник, которому кающийся сообщил обо мне сведения, не упомянув о строгой тайне, обратился в префектуру с доносом, сильно компрометирующим меня. Но разоблачение Горне не имели того результата, на который он надеялся.

Произвол, существовавший в применении к ворам, развил среди них манию доносить друг на друга и довел их до крайней степени развращения. В былые времена, казалось, будто они составляют в среде общества отдельный класс, тесно сплотившийся и не допускающий ни изменников, ни перебежчиков. Но когда их стали ссылать массами, то они, вместо того, чтобы сомкнуть свои ряды, пришли в ужас, забили тревогу и позабыли прежнее чувство товарищества. Как только узы, соединявшие членов обширной семьи мошенников, были порваны, каждый из них, соблюдая свои личные интересы, уже не колебался выдавать своих товарищей. Надо было видеть, как доносы сыпались градом во второе отделение перед приближением годовых праздников — Нового года, рождения Императора или какого-нибудь другого торжества. Чтобы избегнуть того, что агенты называли добрым приказом, т. е. распоряжения арестовывать всех маломальски подозрительных воров, все они наперерыв старались доставлять полиции более или менее полезные указания. Как видите, весьма легко было переполнить все тюрьмы; но при этих общих погромах невозможно было избегнуть злоупотреблений, часто совершались самые возмутительные несправедливости; несчастные рабочие, высидевшие свой срок за какой-нибудь незначительный проступок и принявшиеся снова за работу, стараясь своим хорошим поведением изгладить прежнюю вину, — попадались заодно со всеми и смешивались с отъявленными ворами. Для них не было даже никакой возможности протестовать. Их препровождали в депо и на другой же день вели к ужасному Лимодену, который подвергал их допросу, и какому допросу, Боже мой!

Вот вам образчик:

— Твое имя, местожительство? Был под судом?

— Да, г. судья, но теперь я работал и…

— Довольно, позвать другого.

— Но, мосье Лимоден, ради Бога…

— Молчать! Другого! Надеюсь, это дело конченное.

Тот, которого во что бы то ни стало заставляли молчать, мог бы, однако, привести в свою пользу не лживое оправдание.

Выпущенный на волю уже несколько лет тому назад, он успел остепениться и мог даже представить блистательные доказательства своей честности, опираясь на свидетельства многих лиц, но Лимодену было недосуг выслушивать его.

— Никогда и конца бы не было, — говорил он, — если бы пришлось заниматься такими пустяками. — Часто в одно утро этот почтенный деятель спроваживал таким образом до ста человек, мужчин и женщин, и посылал их в Бисетр или в Сент-Лазар. Он был неумолим; по его мнению, ничто не могло искупить минуту заблуждения. Сколько несчастных, покинувших путь мрака, снова вернулись к своей прежней жизни именно благодаря ему. Многие из этих жертв его неумолимой строгости раскаивались в своем исправлении, не послужившем для них ни к чему, и в своем отчаянии клялись сделаться отъявленными разбойниками.

— На какой черт мы были честными? — говорили эти несчастные. — Посмотрите, как с нами обращаются; в таком случае, лучше быть мошенником всю жизнь. К чему было осуждать нас на известный срок, если не допускают, чтобы мы могли исправиться. Для чего в таком случае законы, если их не соблюдают?

Я слышал множество подобных жалоб, почти всегда основательных.

— Вот уж четыре года, как я вышел из Сент-Пелажи, — говорил при мне один из таких заключенных; — со времени моего освобождения я все время работал в одной и той же

лавке, что доказывает, что я вел себя хорошо и много были довольны. Ну и что же? Меня отправили в Бисетр без малейшей вины с моей стороны и, собственно, потому, что я два года высидел в тюрьме.

Эта невыносимая тирания, без сомнения, была неизвестна префекту, однако она совершалась от его имени. Признанные и тайные агенты были в то время субъекты опасные, так как их доносам слепо доверяли. Если арестовали простолюдина, указывая на него как на опасного и неисправимого вора (это была обыкновенная формула), то человека этого сажали в тюрьму без дальнейших рассуждений. Это был золотой век полицейских шпионов, так как каждое из этих покушений против личной свободы доставляло им премию. В сущности, премия была незначительная: один экю с каждого арестованного, но спрашивается, на что не решится шпион из-за какого-нибудь жалкого экю, если только при этом он не подвергается опасности? К тому же незначительность вознаграждения они старались наверстать количеством жертв. С другой стороны, воры, желая приобрести свободу, как попало, вкривь и вкось доносили на всех тех, кого знали прежде, все равно, исправились они или нет. За их разоблачения им давали дозволение оставаться в Париже; но вскоре сами заключенные мстили за себя, и первым доносчикам приходилось волей-неволей присоединяться к ним.

Трудно себе представить, какое громадное число людей было снова повергнуто таким путем в бездну преступлений, между тем как они, может быть, исправились бы, не будь этой отвратительной системы преследования. Если бы их оставили в покос, то они никогда не скомпрометировали бы себя; но, несмотря на их благие решения, их ставили в необходимость сделаться снова ворами. Некоторые из них в виде исключения получали по окончании своего срока дозволение не отправляться в Бисетр, но тогда им не давали никакого свидетельства, никакой бумаги, так что им не было никакой

возможности достать себе работу. Им ничего не оставалось, как умереть голодной смертью; но на это человеку трудно решиться — они не умирали, а воровали, чаще всего воровали и доносили в одно и то же время. Эта мания доносов распространилась с замечательной быстротой; в доказательство этого я мог бы привести такое множество фактов, что положительно теряюсь в выборе. Часто в те времена, когда уже нечего было доносить мне, доносчики выдавали мне, приписывая друг другу преступления, мотивировавшие их собственное осуждение. Упомяну несколько примеров.

Некая Бальи, бывшая воровка, заключенная в Сен-Лазар, призвала меня с намерением доставить мне различные сведения. Когда я явился к ней, она сообщила мне, что если ее выпустят на свободу, то она готова указать виновников в пяти воровствах, в том числе двух со взломом. Я согласился на сделку; сообщенные ею подробности были так точны и определенны, что я уже приготовился привести в исполнение свое обещание. Однако, поразмыслив о различных обстоятельствах ее рассказа, я нашел странным, что она до такой точности могла разузнать обо всем. Она назвала мне имена обокраденных лиц — один из них был некий Фредерик, имевший жительство в улице Сент-Оноре, в пассаже Виржини. Отправились к нему на дом, и, собрав сведения, я убедился, что доносчица одна была виновна в воровстве у трактирщика; я продолжал свое исследование и повсюду находил подтверждение этой истины. Оставалось только формально проверить мои наблюдения. Жалобщиков повели в Сен-Лазар, Бальи их не заметила; я указал ее пострадавшим среди группы ее товарок.

Ее тотчас же узнали, и сама преступница, сконфуженная явными доказательствами, принуждена была сознаться, и за это подверглась заключению на восемь лет. Эта женщина свалила всю свою вину на двух своих товарок, дурная нравственность которых могла оправдать эти подозрения. Другая

воровка, прозванная «Прекрасной мясничихой», сделала мне также разоблачение вроде Бальи; и ее постигла такая же участь.

А вот еще пример: некто Уасс, отец которого позднее был замешан в известном процессе бакалейщика Пулена, донес мне на трех субъектов, якобы совершивших кражу со взломом в улице Сен-Жермен в табачной лавке. Я отправился туда, собрал справки и ясно убедился, что Уасс сам не чужд этого преступления. Я скрыл от него свои подозрения, но, употребив его в дело, я так ловко действовал, что он был арестован как сообщник и подвергнут заключению. Эта неудача должна была бы отнять у него охоту на доносы, но, стремясь во что бы то ни стало сделаться сыщиком, он сделал королевскому прокурору различные ложные доносы, благодаря которым высидел года три в тюрьме. Я уже сказал, что воры незлопамятны. Едва успев вырваться на свободу, Уасс поспешил прибежать ко мне с новым доносом. Но можете себе представить, вор был не кто иной, как сам Уасс. Арестованный и уличенный, он был приговорен вторично. Во время своего заключения мошенник, узнав об аресте своего отца, поспешил обратиться ко мне с разоблачениями, подтверждающими обвинение, направленное против родного отца. Я счел долгом сообщить их начальству, глубоко негодуя на поведение бессердечного сына.

По моему мнению, порвать всякую связь с ворами — значило бы лишиться одного из лучших вспомогательных средств, поэтому я никогда не отделялся от них окончательно. Преследуя их, я делал вид, будто интересуюсь их участью. Мне необходимо было устроиться так, чтобы они не могли догадаться, кто я — собака или волк. Это сомнение, столь благоприятное для клеветы, никогда вполне не разъяснялось для них. Вот почему воры, главным образом, содействовали приобретенной мною славе; они воображали, что я их враг

только по виду, но что в сущности я расположен покровительствовать им. Часто они доходили до того, что выражали мне свои сожаления о том, что я принужден заниматься таким ремеслом, а между тем сами помогали мне.

Среди воров по профессии не было почти ни одного, который не счел бы для себя счастием оказать услугу полиции и доставить ей какое-либо сведение. Почти все они охотно полезли бы в огонь и воду, чтобы дать ей доказательство усердия, в том убеждении, что за это получат если не полную безнаказанность, то по крайней мере снисхождение. Те из них, которые более других боялись полиции, охотнее всех были расположены служить ей. Я вспомнил по этому поводу историю одного освобожденного каторжника, некоего Буше, прозванного Каде Пезаньоном. Я искал его в течение трех недель, как вдруг случайно встретил в кабаке под вывеской «Золотая рука». Я был один, а он, напротив, в многочисленном обществе. Попытаться схватить его силой было бы рискованно, так как очень вероятно, что он стал бы защищаться и нашел бы поддержку в своих товарищах. Буше когда-то был полицейским агентом, я в это время знал его, и мы даже были в довольно хороших отношениях. Поэтому мне пришло в голову подойти к нему, как к старинному приятелю, и сыграть с ним штуку. Войдя в кабак, я прямо направился к столу, за которым он сидел, и, протянув ему руку, сказал:

— Здорово, брат Каде!

— А, это ты, дружище, не хочешь ли освежиться? Спроси стакан или возьми мой.

— Живет и твой — я не брезглив (я пью). Ах, кстати, мне хотелось бы сказать тебе два слова наедине.

— С удовольствием, старина, я весь к твоим услугам. — Он встал с места, я взял его под руку и отвел в сторону. — Помнишь ты, — спросил я, — маленького матросика, который был в одной партии с тобой?

— Низенький такой, толстенький? Как не помнить.

— А узнал бы ты его теперь, как ты думаешь?

— Как родного отца! Как теперь вижу его на скамье тринадцатой, занятого выделкой катарасов (венчики для предохранения ног от трения оковами).

— Я только что арестовал одного молодчика, только наверное не знаю, он ли это; он пока сидит на гауптвахте. Проходя мимо, я увидел тебя: давай, думаю, спрошу у Каде, он наверняка знает, в чем дело.

— Я готов, дружище, услужить тебе, только прежде, нежели идти нам, надо выпить малую толику. (Обращаясь к своим товарищам). А вы, приятели, не взыщите, у меня дельце есть; в одну минуту я опять приду.

Мы отправились вместе; подойдя к двери, я из вежливости пропустил его вперед. Он дошел до конца зала, осматриваясь кругом и тщетно отыскивая глазами арестанта, о котором я говорил ему.

— Ну где же, наконец, молодчик-то, давай-ка я полюбуюсь на него.

В это мгновение я стоял около двери, и прямо передо мною висел на, стене осколок зеркала, какие часто встречаются в казармах, для удобства местных франтов. Я подозвал Буше и сказал ему, указывая на зеркало:

— Вот куда смотри, друг сердечный!

Он посмотрел и оглянулся на меня со словами:

— Полно дурачиться, Жюль, в зеркале только твоя рожа да моя — а где же арестант?

— Так знай же, что арестант-то не кто иной, как твоя персона.

— Ах ты бестия! Ну разве это не подлая штука?

— Известно, что под луной все обман.

— Ну, однако, счастья тебе не принесет подводить добрых малых.

Когда мне предстояло сделать какое-нибудь важное открытие, сопряженное с затруднениями и препятствиями, женщины оказывали мне еще большую помощь, нежели мужчины. Известно, что женщины вообще одарены вкрадчивостью, качеством весьма полезным в тайной полиции. Обладая известным тактом и хитростью, в соединении с замечательной настойчивостью и терпением, они почти всегда достигают своей цели. Кроме того, они не внушают такого недоверия, как мужчины, и могут втираться повсюду, не возбуждая никаких подозрений. Замечательна их способность заводить дружбу с прислугой и дворниками; они умеют болтать, не проговариваясь. По виду сообщительные, они превосходят в искусстве наводить на откровенность. Словом, они обладают всеми качествами, необходимыми для хорошего шпиона, и когда они преданы и действуют искренно, то полиции трудно найти лучших агентов.

Г-н Анри, известный за человека умного и ловкого, часто употреблял их в дело в самых щекотливых случаях и почти всегда не мог нахвалиться их смышленостью. Следуя примеру своего начальника, я также во многих случаях прибегал к услугам шпионов в юбках и также почтя всегда оставался доволен ими. Однако, так как они большею частью были существа испорченные до мозга костей и еще более коварны, нежели шпионы, мне приходилось быть постоянно настороже, чтобы не быть обманутым. Следующий пример покажет, что не всегда можно было полагаться на их усердие.

Две известные воровки были освобождены по моей просьбе, с условием, чтобы они верой и правдой служили полиции. Еще прежде они доказали свою способность в этих делах, но, не получая содержания от полиции и не имея никаких средств к существованию, они прибегли к воровству и были пойманы на месте преступления. Со времени их освобождения обе женщины, Софи Ламбер и некая Демер, прозванная «Прекрасной Лизой», вошли в непосредственные сношения со

мной. Однажды утром они явились ко мне и объявили, что могут доставить полиции случай арестовать некоего Томино, человека опасного, которого долго разыскивали. Они уверяли, что только что обедали с ним и что вечером условились встретиться в кабаке, на улице Сент-Антуан. В другом случае я, может быть, сделался бы жертвой их обмана, но на этот раз это было немыслимо, так как Томино был арестован мною накануне и они уж никак не могли обедать с ним. Однако мне хотелось все-таки убедиться, до чего дойдет их обман, и я обещал сопровождать их на свидание. Мы отправились вместе, но, конечно, Томино не явился. Мы прождали до десяти часов. Наконец Софи, притворяясь раздосадованной, спросила гарсона, не приходил ли кто-нибудь за ними.

— Приходил тот, с которым вы обедали, — отвечал он, — и поручил сказать вам, что сегодня вечером не может прийти сюда, а придет завтра.

Я не сомневался в том, что гарсон был сообщник, которого подучили заранее, но я не подал виду, что подозреваю что-нибудь, и решился терпеливо выжидать, до каких пор моим дамам заблагорассудится водить меня за нос.

В продолжение целой недели они таскали меня из одного трактира в другой, обещая показать мне Томино, но никогда, конечно, нам не случилось встретиться с ним. Наконец, 6 января, они поклялись во что бы то ни стало привести его. Я снова пришел в назначенный час и снова не увидел Томино; они представили мне такие правдоподобные резоны, что мне невозможно было рассердиться. Напротив, я показал вид, что очень доволен их стараниями, и в награду предложил угостить их традиционным пирогом. Приглашение было принято, и мы втроем отправились в трактир Petit Broc в улице Верьери. Традиционный боб достался Софи, которая была счастлива, как королева. Пили, ели, много смеялись, наконец, чтобы достойно закончить пиршество, я предложил выпить по рюмке водки; но здешнюю кабацкую водку пить нет

возможности, она годится только мужикам, а я был слишком любезен, чтобы угощать свою королеву напитком, недостойным ее. Поэтому я предложил ей принести из дому кое-чего получше. При этом известии мои дамы пришли в неописанный восторг и просили меня сбегать как можно поскорее. Через несколько минут я явился с полубутылкой коньяку, которая была осушена в один миг.

— Вот видите, какой я добрый малый, — сказал я моим кумушкам, — теперь за вами оказать мне услугу.

— Что угодно, друг Жюль, — воскликнула Софи, — говори живей.

— Вот в чем дело. Один из моих агентов арестовал двух воровок. Полагают, что у них скрывается множество краденых вещей, но чтобы сделать обыск, надо знать их местожительство, а они никак не хотят указать его. Не можете ли вы пойти туда и как-нибудь выпытать их тайну — вам это будет нетрудно, ведь вы у меня ловкие бабы.

— Будь покоен, дружище Жюль, — сказала Софи, — мы прекрасно сумеем исполнить поручение. Ты знаешь, что на нас можно положиться — пошли нас на край света, и мы с радостью отправимся ради тебя, — по крайней мере я.

— И я также, — вставила Лиза.

— В таком случае отправьтесь от моего имени к начальнику караула. — Я написал несколько слов, запечатал записку, и мы вышли вместе. Неподалеку от рынка Сен-Жан мы расстались, и пока я наблюдал за ними, Софи и ее подруга направились в гвардейский караул. Войдя туда, Софи подала записку, и сержант прочел ее.

— Хорошо, — сказал он, — вас двое; капрал, возьмите с собой четырех людей и проводите этих дам в префектуру. — Этот приказ был отдан вследствие моего же распоряжения, которое я успел сообщить, пока ходил за коньяком. В приказе было сказано: «Прошу немедленно препроводить под верным конвоем в префектуру полиции этих двух женщин,

Софи Ламбер и Елизавету Демер, арестованных по распоряжению г. префекта».

Мои дамы, вероятно, немало удивились; без сомнения, они догадались, что я наконец утомился быть их игрушкой. Как бы то ни было, а на другой день я отправился в депо и спросил их, как им понравился мой фокус.

— Недурно, — отвечала Софи, — право, недурно. Это твоя вина, — накинулась она на свою подругу. — Ну зачем было разыскивать человека, который давным-давно попался?

— А я разве знала? Ах кабы знать, где упасть, так соломки бы подостлать… Ну делать нечего, каша заварена, надо расхлебывать.

— Все это прекрасно, но хотя бы нам сказали, сколько времени нам придется корпеть в Сен-Лазаре. Скажи-ка, Жюль, ведь ты знаешь, небось.

— Месяцев шесть, не больше.

— Только-то! — закричали они хором.

— Шесть месяцев не Бог весть как долго, — продолжала Софи, — скоро пролетят, и не успеешь оглянуться. Делать нечего, г-ну префекту так угодно!

Они высидели даже меньший срок, нежели я определил. Едва успели их выпустить на волю, как они сейчас же прибежали ко мне с новыми указаниями. На этот раз обману не было. Замечательная особенность — воровки обыкновенно реже исправляются, нежели воры. Софи Ламбер никогда не могла отрешиться от своей несчастной слабости. С десятилетнего возраста она дебютировала в этой карьере; ей не исполнилось еще двадцати пяти лет, а уже три четверти ее жизни протекли в тюрьмах.

Вскоре после моего поступления в полицию я арестовал ее и подвергнул заключению на два года. Она занималась своим преступным ремеслом главным образом в меблированных отелях. Трудно было превзойти ее в искусстве надувать консьержей и избегать их расспросов.

Проникнув в гостиницу, она останавливалась на площадке лестницы каждого этажа и заглядывала в комнаты: если у какой-нибудь двери примечала ключ, то быстро и неслышно отпирала дверь, прокрадывалась в комнату, и если жилец не спал, она беззвучно, как тень, забирала все, что попадалось ей под руку: часы, драгоценности, деньги — все переходило в ее ягдташ, как она называла большой карман, скрытый у нее под передником. Если же жилец бодрствовал, то Софи наскоро отделывалась извинениями, ссылаясь на то, что она ошиблась дверью. Если же случайно спящий жилец просыпался в то время, пока она действовала, она, нисколько не смущаясь, подбегала к нему и, обняв его, нежно прижимала к груди; «Здравствуй, мой бедный Мими, — восклицала она, — поцелуй же меня!.. Ах, сударь, извините, пожалуйста, разве не тут 17-й номер, а я была уверена, что у своего знакомого».

В одно прекрасное утро Софи забралась к одному чиновнику с целью обобрать его; но тот проснулся и открыл глаза именно в ту минуту, когда она была занята около его комода. Он сделал жест удивления, и Софи начала разыгрывать свою обычную сцену. Но чиновник тоже был человек предприимчивый и захотел воспользоваться мнимой ошибкой. Что тут делать? Если Софи будет сопротивляться, то звяканье серебра в ее кармане во время борьбы может выдать цель ее посещения, если же она уступит, то опасность еще больше… Всякая другая непременно растерялась бы. Но Софи ловко вывернулась из опасности с помощью выдумки, очень, впрочем, правдоподобной. Чиновник остался доволен и позволил ей удалиться. При этом он потерпел немалый убыток — его кошелек, часы и шесть серебряных приборов исчезли безвозвратно. Эта женщина была преотчаянное существо: два раза она попадалась в расставленные мною сети, но затем я тщетно пытался поймать ее, она ловко вывертывалась и постоянно была настороже. Мне удалось накрыть ее на месте преступления только благодаря случайности. Выйдя из дому на рас-

свете, я шел по площади Шатлэ и встретился нос к носу с Софи; она подошла ко мне с самоуверенным видом.

— Здорово, Жюль, куда отправляешься в такую рань? Уж наверное оплетать какого-нибудь приятеля.

— Очень может быть… знаю только, что не тебя. А ты сама куда летишь?

— А я отправляюсь в Корбейль, там сестра обещалась поместить меня в один дом. Надоело мне до смерти таскаться по острогам, пора исправляться; пойдем выпьем по малости.

— Охотно, я угощаю, пойдем к Лепретру.

— Ладно, ладно, только поскорее, чтобы мне не пропустить дилижанса. Ведь ты проводишь меня в улицу Дофин, не правда ли, Жюль?

— Не могу, у меня дела есть кое-какие, я и то опоздал, могу только выпить рюмочку, а потом надо бегом бежать.

Мы вошли к Лепретру, наскоро пропустили по маленькой, обменялись несколькими словами и распростились. — Прощай, Жюль, желаю тебе успеха. Софи удаляется, а я окольным путем пробираюсь в улицу Плати Мибрэ и прячусь за углом. Из своего убежища я мог видеть, как она быстрыми шагами перешла через мост, ежеминутно озираясь; очевидно, она боялась преследования; из этого я заключил, что хорошо было бы проследить за ней. Поэтому я сам направился к мосту Norte-Dame и, пройдя через него быстрыми шагами, достиг набережной вовремя, чтобы не потерять ее следов. Дойдя до улицы Дофин, она действительно шмыгнула в контору дилижансов, но, убежденный, что ее отъезд мнимый и служит только предлогом, чтобы объяснить ее ранний выход из дому, я приютился в одной аллее, откуда мог наблюдать за ней, когда она выйдет из конторы. Позвав проезжавший мимо фиакр, я вошел в карету и обещал извозчику на водку, если он поможет мне проследить за женщиной, которую укажу ему. Пока мы должны были стоять на месте; через несколько минут дилижанс отошел; Софи

там не было, я готов был дать голову на отсечение, но через несколько мгновений она появилась у ворот, тревожно озираясь по сторонам и, наконец, как бы решившись, быстрыми шагами пустилась по улице Christine.

Она заходила в несколько гостиниц, но отовсюду выходила скоро и с пустыми руками, — ясно было, что не представилось удобного случая стянуть что-нибудь и что ее экспедиция пока не удалась; но я знал, что она не так-то скоро потеряет терпение, и решился не мешать ей. Наконец в улице La Harpe она проскользнула и одну дверь и через несколько секунд появилась с громадной корзиной для белья. Шла она очень скоро, невзирая на свою ношу; миновав улицу Mathurins Saint-Jasques, она пошла по улице Macons Sorbonne. К несчастью для нее, последняя сообщается с улицей La Harpe сквозным пассажем. Там-то я спрятался, и когда она проходила мимо пассажа, я вышел из дверей и очутился с ней нос к носу. Увидев меня, она изменилась в лице от испуга и неожиданности. Смущение ее было так велико, что она не могла произнести ни слова. Наконец, оправившись немного и притворяясь раздосадованной, она сказала:

— Если бы ты знал, как я зла: моя прачка должна была принести мне белье в контору дилижансов, и по ее милости я пропустила отъезд кареты. Вот теперь я взяла у нее белье и хочу отдать его выгладить одной приятельнице, — так и пришлось остаться в Париже.

— Со мной тоже неудача; по пути я встретил кое-кого, который сказал мне, что мой молодчик здесь, а между тем его нигде нет во всем квартале.

— Ну, тем лучше; подожди меня немного, я пойду отнесу корзину в двух шагах отсюда и отправимся завтракать вместе.

— Вряд ли мне удастся, я… Э, да что это такое?..

Софи и я разинули рты от удивления: из корзины вылетали пронзительные звуки, вроде детского писка. Приподняв

крышку, я увидел — что же?.. ребенка месяцев трех-четырех, который орал во всю глотку.

— Должно быть, это твой пискун, — сказал я Софи. — Можешь мне сообщить, какого он пола?

— Экая досада! Я опять влопалась! Ну уж оказия, век не забуду! Если спросят, в чем дело, отвечу: ничего, сущая малость, ребячье дело. Другой раз, когда придется белье красть, буду осторожнее.

— И зонтик дождевой тоже заодно захватила?

— Был тот грех! Как видишь, у меня было чем закрыться, а все-таки попалась, судьбы, видно, не избежишь, как там ни старайся…

Я повел Софи к полицейскому комиссару Френу, бюро которого было тут по соседству. Дождевой зонтик был оставлен как вещественное доказательство, а ребенок, которого Софи похитила поневоле, был немедленно возвращен его матери. Воровка просидела за это в тюрьме целых пять лет. Если не ошибаюсь, это уже шестой или седьмой раз, как она подвергалась суду; после этого она попалась еще раз, и весьма вероятно, что ей суждено всю жизнь свою провести в Сен-Лазаре.

Софи находила свое ремесло весьма естественным и равнодушно относилась к постигавшей ее каре. Тюрьма не страшила ее; напротив, в ней она чувствовала себя в своей сфере. Софи приобрела в местах заключения постыдные привычки, которых не оправдывает пример древней Сафо; под замком и запором чаще представлялись случаи предаваться разврату — из этого видно, что она недаром так мало ценила свободу. Если ее арестовали, то она действительно горевала одну минуту, но не более, — это было только мимолетное впечатление, и она скоро утешалась перспективой ожидающих ее удовольствий. Странный характер был у этой женщины; вот хоть бы пример из ее жизни. Некая Жилион, с которой она жила в преступной интимности, была схвачена

за покражу; Софи, бывши ее сообщницей, спаслась от преследования, но, горюя о своей подруге, она заставила донести на себя и успокоилась только тогда, когда ей прочли приказ, который должен был соединить их неразлучно еще на два года. Большая часть этих тварей легко смотрит на тюремное заключение; мне случалось видеть некоторых из них, привлеченных к суду за воровство, обвинивших в сообщничестве своих подруг, а они, хотя и невинные, считали своим долгом покориться этой участи.

Глава тридцать восьмая

Ювелир и священник. — Тайник и шкатулка. — Роковое известие. — Казаки не виновны. — Мнимый солдат. — Я превращаюсь в еврея. — Я отправляюсь на богомолье с монахиней из Дурдана. — Моё превращение в немца-лакея. — Я попадаю в тюрьму. — Пуговицы моего сюртука. — Битва при Монтеро. — Путешествие в Германию. — Черная курочка. — Бриллиантов на сто тысяч экю

Незадолго до первого вторжения неприятеля некто Сенар, один из самых богатых ювелиров Пале-Рояля, отправившись однажды в гости к своему приятелю, ливрийскому священнику, нашел его в ужасной тревоге, вызванной приближением наших любезных друзей — неприятелей. Дело в том, что требовалось поскорее убрать с глаз долой в безопасное место священные сосуды и небольшое состояньице священника. Не без долгого колебания — хотя, казалось бы, ему не привыкать к похоронам — священник наконец решился зарыть вещи, которые ему хотелось спасти, и Сенар, который, как и все скопидомы и скупцы, воображал, что Париж будет разграблен до основания, в свою очередь решился последовать примеру своего друга и зарыть в землю все драгоценности своего магазина. Друзья условились положить свои сокровища в один и тот же тайник. Но вопрос в том, кто выроет яму? Священник предложил одного из своих прихожан, дядюшку Муазеле, который пел обыкновенно за мессой. О! Муазеле перл честных людей, вот на него-то уж можно положиться, как на каменную гору, кажется, копейки чужой не возьмет. В течение 30 лет в качестве бочара ему поручалось переливать в бутылки чудесное вино, которое пили в священническом доме. По мере надобности он был и церковным старостой, и причетником, и пономарем, и factotum'ом, всей душой преданный церкви и ее пастырю, словом, он обладал всеми качествами верного слуги, не считая скромности,

смышленности и глубокой набожности. В таком важном случае весьма естественно было обратиться к Муазеле; его-то и избрали доверенным лицом. Вскоре, благодаря его стараниям, было приготовлено убежище, чтобы скрыть сокровища; целых шесть футов земли были брошены на имущество священника и на маленькую шкатулку Сенара, заключавшую в себе бриллиантов на сто тысяч экю. Яму завалили землей, почву на поверхности выровняли так тщательно, что можно было бы поручиться головой, что место было нетронуто с сотворения мира. «Этот превосходный Муазеле, — говорил Сенар, потирая руки от удовольствия, — устроил нам дельце как нельзя лучше»... По прошествии нескольких дней соединенные армии одержали новую победу, и вот толпы казаков, калмыков и киргизов всевозможных нравов и обычаев нахлынули на селения в окрестностях Парижа. Известно, что эти непрошеные гости отличались небывалой алчностью к добыче, повсюду они грабили и опустошали напропалую, ни одно жилище не было пощажено, но в своем усердии они не ограничивались поверхностью земного шара, они проникали и внутрь, чуть ли не до центра земли; эти отважные геологи во многих местах зондировали почву и, к несчастью для местных обывателей, пришли к убеждению, что во Франции мины золота и серебра не так глубоки, как в Перу. Такое открытие еще более разлакомило их, и много местных крезов были разорены в пух и прах их тщательными изысканиями. Проклятые казаки! Однако безошибочный инстинкт, который руководил ими, не натолкнул их на убежище, куда священник припрятал свой клад. Проходили дни один за другим, не принося с собою никаких изменений. Нет, положительно; нельзя было достаточно надивиться на промысел Божий, который не допускал разоблачить тайну честного Муазеле. Сенар был до такой степени тронут этим, что от всей души благодарил Бога за сохранение бриллиантов и в то же время молил сохранить их на будущее время. Убежден-

ный, что молитвы его будут услышаны, он спал по ночам сном беззаботным; но вот, в один прекрасный день, должно быть, в пятницу, к священнику прибегает Муазеле, весь запыхавшийся, бледный, взволнованный:

— Ах, господин священник, я погиб!

— Что с вами, Муазеле?

— Никогда не решусь сказать вам. Бедный господин священник, ей-Богу, я так этим поражен, что душа в пятки ушла. Кажется, если б мне жилы открыли, так ни капли крови не вытекло бы.

— Да что же, наконец, случилось? Вы меня пугаете.

— Тайник…

— Боже милосердный! Не говорите дальше, мне все ясно. О, какое ужасное наказание Божие эта война! Джонстон, башмаки живей, башмаки и шляпу!

— Но, барин, вы еще не завтракали.

— Поди ты со своим завтраком, до того ли мне теперь!

— Вы ведь знаете, что когда выходите из дому натощак, то у вас делаются спазмы в желудке…

— Мои башмаки, говорят тебе.

— Сами потом станете жаловаться на желудок…

— Не надо мне желудка. Ничего мне больше не нужно, мы разорены!

— Разорены!.. Господи Иисусе Христе, Пресвятая Дева… Возможно ли это! Ах, барин, бегите же, бегите поскорее.

Пока священник собирался наскоро и тщетно пытался застегнуть пряжки своих башмаков, Муазеле плачевным тоном повествовал ему обо всем, что видел.

— Уверен ли ты? — расспрашивал священник. — Может быть, они не все забрали.

— Ах, господин священник, дай-то Бог! У меня не было духу заглянуть туда.

Они вместе направились в старый сарай и убедились, что неприятель похитил все дочиста. Священник, сознавая все

свое несчастие, чуть не упал в обморок; на Муазеле также жалко было смотреть, — бедный малый горевал бы не более, если бы пропало его собственное добро. Он разразился вздохами и стонами, — вот что значит любовь к ближнему! Сенар и не подозревал, какое бедствие посетило Ливри; в какое отчаяние повергло его известие о печальном событии! В Париже пострадавшие первым делом находят утешение в полиции. Первая мысль, поразившая Сенара, и самая естественная, — была та, что покража совершена казаками. В таком случае полиция была бы ни при чем; но Сенар осмелился заподозрить, что казаки нимало не виновны, и в один прекрасный день, когда я находился в кабинете г-на Анри, к нему вошел низенький, нервный человечек, которого по первому взгляду можно было заподозрить в корыстолюбии и недоверчивости. Это был Сенар. Он в коротких словах изложил свою беду и закончил предположением не совсем-то лестным для Муазеле, Г-н Анри согласился с ним, что, вероятно, похитителем был не кто иной, как тот же Муазеле; я думал то же самое.

— Все это прекрасно, — заметил г-н Анри, — но ведь наше мнение основано на одних предположениях, и если Муазеле будет осторожен, то не будет никакой возможности уличить его.

— Не будет возможности? — воскликнул Сенар. — Что же со мной-то будет? Но нет, этого быть не может, я недаром обратился к вам за помощью; разве вы не всемогущи, когда только пожелаете? Мои бриллианты, мои бедные бриллианты, я сейчас готов был бы пожертвовать сто тысяч экю, чтобы найти их снова.

— Вы можете дать вдвое больше; но если похититель принял предосторожности, то нам не удастся узнать ничего.

— Ах, право, вы приводите меня в отчаяние, — отвечал золотых дел мастер, проливая горькие слезы и бросаясь на колени перед начальником отделения. — Их ведь на сто ты-

сяч экю, моих бриллиантов-то! Если я лишусь их, то умру с горя; Бога ради, сжальтесь надо мной.

— Легко сказать — сжальтесь; впрочем, если ваш молодчик не слишком-то хитер, то можно за ним проследить с помощью какого-нибудь ловкого агента, может быть, нам удастся вырвать от него его тайну.

— Уж как я вам буду благодарен! О, я не постою за деньгами. Пятьдесят тысяч франков вознаграждения в случае успеха.

— Что вы об этом думаете, Видок?

— Дело нелегкое, — ответил я, — но может быть, принявшись за него хорошенько, я и мог бы выйти из него победителем.

— Неужели! — воскликнул Сенар, с жаром пожимая мою руку. — Вы воскрешаете меня. Бога ради, г-н Видок, не щадите никаких средств для достижения счастливого результата; мой кошелек во всякое время открыт для вас, я не постою ни перед чем. Итак, вы в самом деле надеетесь на успех?

— Да, милостивый государь, надеюсь.

— И прекрасно; отыщите мне мою шкатулку и десять тысяч франков — ваши, слышите ли — десять тысяч франков; я от своих слов не откажусь!

Несмотря на постепенные сбавки цены по мере того, как Сенар начинал верить в возможность разыскать его сокровища, я, однако, обещал употребить все свои старания. Но прежде, нежели предпринять что бы то ни было, надо было подать просьбу. Сенар вместе со священником отправились в Понтуаз, и на основании их заявления Муазеле был арестован и подвергнут допросу. Всеми силами старались убедить его сознаться в вине, но он настойчиво отнекивался, и за неимением достаточных улик обвинение должно было рушиться; но я, чтобы, по возможности, поддержать его, пустил в ход все свои старания и первым делом снарядил одного из своих агентов. Переодетый в военный мундир, с левой рукой на повязке, он

явился с квартирным билетом к супруге почтенного Муазеле; он рассказал ей, что только что вышел из госпиталя и должен был остаться в Ливри дня два, не более, не, к несчастью, сильный ушиб при падении не дает ему возможности продолжать путь. Таким образом, он вынужден был остановиться в городе до выздоровления и, по распоряжению мэра, поселиться у мадам Муазеле.

Супруга Муазеле была одна из тех добрых, веселых толстух, которые не прочь пожить под одной кровлей с молоденьким солдатиком; она и не думала досадовать на судьбу, навязавшую ей на шею постояльца — к тому же он ведь мог утешить ее в отсутствие мужа; ей еще не исполнилось 35 лет, а в этом возрасте женщины еще не пренебрегают утешениями. Но это еще не все — злые языки упрекают мадам Муазеле в излишнем пристрастии к спиртным напиткам, что делать — такова уж про нее слава прошла. Мнимый солдат не упустил из виду и этой слабой струнки своей хозяйки; чтобы окончательно снискать благоволение доброй женщины, он от времени до времени угощал ее винцом и для этого развязал ремни своего туго набитого пояса. Хозяйка была в восторге от нежной предупредительности своего гостя; к довершению всего, он был грамотный и строчил под ее диктовку невиннейшие послания к ее супругу, послания, которые отнюдь не могли скомпрометировать его. Секретарь стал соболезновать о мадам Муазеле, горевать насчет бедного узника и, чтобы вызвать на откровенность, стал проповедовать принципы довольно легкой морали: для того, чтобы, мол, обогатиться, — все средства хороши. Но барыня тоже была не проста и не поддалась на эту удочку. Постоянно настороже, она была крайне осторожна в словах и поступках. После нескольких дней тщетных стараний я наконец убедился, что моему агенту, при всей его ловкости, не удастся извлечь никакой существенной пользы из своей миссии. Тогда я решился действовать сам и, переодетый в разносчика, стал рыскать

по окрестностям Ливри. Я превратился в жида-торговца, которые в своей котомке носят разные товары: сукна, мелочи, украшения и т. д., и в обмен принимают все, что угодно — золото, серебро, драгоценные каменья. Меня сопровождала в моей экспедиции бывшая воровка, отлично знакомая с местностью; она была вдова известного вора Жермена Будье, прозванного «Отцом Латюилем», который после долголетнего заключения недавно умер в Сент-Пелажи. Моя спутница пробыла 12 лет в тюрьме Дурдана, где ее прозвали «Монахиней» за смиренный и набожный вид, которым она прикрывала себя. Никто не обладал в таком совершенстве искусством шпионить за женщинами и соблазнять их заманчивыми нарядами и безделушками. Я льстил себя надеждой, что мадам Муазеле, поддавшись ее красноречию и соблазнившись нашими товарами, вытащит экю священника или какой-нибудь бриллиант чистой воды, в случае, если наши тряпки придутся ей уж очень по сердцу. Но мой расчет не оправдался — она, по-видимому, не торопилась наслаждаться своими богатствами и кокетство не погубило ее. Мадам Муазеле была перл всех женщин, я искренне удивлялся ей, и, убедившись, что она стойка, как каменная стена, решился оставить ее в покое и приняться за ее мужа. Из жида-разносчика я вскоре превратился в немца-лакея и в этом новом костюме стал бродить в окрестностях Понтуаза, в той надежде, что меня задержат.

Делая вид, что избегаю жандармов, я, напротив, старался попасться им на глаза, и действительно, при первой же встрече меня попросили предъявить свои документы. Само собой разумеется, у меня их не оказалось; меня повели к судье, который, ни слова не понимая из моих объяснений на ломаном языке, пожелал ознакомиться с содержанием моих карманов; в них нашли довольно значительную сумму денег и различные предметы, которые, по теории вероятностей, уж никак не могли принадлежать мне. Судья, любознательный,

как комиссар, непременно желал добиться, откуда у меня золотые и серебряные вещи; я послал его к черту, с прибавлением нескольких крепких словечек чисто германского происхождения, а он, чтобы научить меня быть неучтивее в другой раз, велел посадить меня в тюрьму.

Итак, я очутился под запорами; в тюрьму меня привели как раз в то время, когда арестанты прохаживались по двору в виде отдохновения. «Вот привел вам немчуру-колбасника, — рекомендовал меня тюремщик, — разбирайте, что он там бормочет, коли можете». Тотчас же вокруг меня столпились арестанты, со всех сторон посыпались на меня приветствия, вроде: «Lanbsmann», «chenier» и т. д. Между тем я старался в числе окружавших меня заключенных угадать ливрийского бочара; мне показалось, что это непременно тот человек, не то поселянин, не то буржуа, который приветствовал меня сладеньким голоском, отличающим обыкновенно ханжей, которые питаются от крох, падающих со священнического стола. Этому благочестивому старцу крохи эти, по-видимому, не пошли впрок — он был тощ, как щепка, но, несмотря на его худобу, лицо его дышало здоровьем. Лоб у него был узкий, глаза карие под густыми бровями, рот до ушей; хотя, рассматривая его черты в отдельности, можно было заметить в них признаки дурных наклонностей, но вообще вид у него был смиренный и благочестивый — хоть сейчас в рай. К довершению портрета прибавлю, что в своем одеянии он отстал по крайней мере на целых три поколения, что всегда в известных кружках общества располагает в пользу субъекта. Я сейчас сообразил, что Муазеле, желая подольститься к набожным старичкам, нарочно облекается в платье такого же старинного покроя, как то, которое они привыкли носить. За неимением других, более характеристических признаков, — пара очков, красующихся на орлином носу, большие светлые пуговицы его камзола светло-табачного цвета, короткие штаны, треугольная шляпа старинного фасона и пестрые чул-

ки — прежде всего привлекли бы внимание кого бы то ни было. Фигура, лицо и одежда так гармонировали между собою, что я был уверен, что отгадал верно.

— Мусью, мусью, — крикнул я, обращаясь к нему, — саперлот, цен таузенд тейфель! карош франсус, мой тринкен хотел, много тринкен с шорна шляп.

Я указал пальцем на его шляпу. Он, очевидно, не понимал ни слова, но когда я сделал красноречивый жест, что хочу выпить с ним, — все стало ему ясно. Пуговицы моего сюртука были — двадцатифранковые монеты; я отпорол одну из них и отдал ее своему новому приятелю, попросив его послать за вином. Скоро я услышал голос тюремщика: «Дядюшка Муазеле, вам принесли две бутылочки!» Итак, я не ошибся — светло-табачный камзол действительно Муазеле; я последовал за ним в его комнату, и мы стали пить вместе, как два старых друга; выпили эти бутылки, принесли две новые, и так далее, до бесконечности. Оказалось, что Муазеле, в качестве пономаря, певчего, причетника и т. д., был горьким пьяницей и отчаянным болтуном. Он пил за двоих и не переставал трещать, как сорока, подражая моему ломаному языку. Тюремщика, пришедшего чокнуться с нами, мы попросили постлать мне постель в комнате моего нового друга. Попойка шла своим чередом; после двух-трех часов, проведенных таким образом, я притворился окончательно опьяневшим. Муазеле, чтобы отрезвить меня, велел подать мне чашку черного кофе; за кофе последовало несколько стаканов воды, но когда пьян, то тут хоть тресни, а ничего не поделаешь. Мною овладело опьянение, и я заснул или по крайней мере притворился спящим, а сам видел, как Муазеле выпил залпом еще несколько стаканов вина. На другой день, когда я проснулся, Муазеле дал мне опохмелиться и, чтобы показаться добросовестным, отдал мне три франка и пятьдесят сантимов, оставшихся будто бы от моих двадцати франков. Муазеле убедился, что я хороший товарищ, и не покидал меня ни на шаг. Скоро

мы покончили мои двадцать франков и принялись за другую пуговицу, которая проскользнула с такой же быстротой; тогда Муазеле стал опасаться — уж не последняя ли эта.

— Нет у вас больше пуговиц? — осведомился он с выражением комического страха на лице. В ответ я показал ему новую пуговицу. Он припрыгнул от радости.

Эта пуговица имела то же назначение, как и предыдущие; наконец, мы столько пили и болтали вместе, что Муазеле стал так же хорошо понимать меня и говорить на моем наречии, как и я сам; мы стали рассказывать друг другу свои горести и печали. Муазеле очень хотелось узнать мою историю; сказка, которую я выдумал, была нарочно рассчитана на то, чтобы внушить ему по возможности больше доверия.

— Мой приекал во Франс, — говорил я, — моя казяин и я. Казяин моя — маршал Австрийская, в Австрии много Gold у его Familie! Моя казяин ошень злая бил, мине immer geschlagen — ach! so weh! Моя казяин и я поекал на битва при Мавтро, ach mein Cott, большой битва, много шеловек капут todt. Мой паялся пиф-паф, бум-бум, мой взяла саквояж, там Gold много маленьки блистел, мой взяла и галоп талеко, талеко… галоп, Фриц, галоп… в Понди Фриц, гальт! Видал дерев, капал, капал земля… den Sack d'rin, когда мой в Deutschland екал, nach Haus, брал den Sack — и Vater, Mutter, и Фриц пагатый бил…

Хотя повествование это было не из понятных, но Муазеле отлично смекнул, в чем дело; он понял, что я бежал, захватив с собою портмоне своего хозяина, и что я зарыл его в лесу Бонди. Признание это не удивило его, напротив, его обращение со мной стало как будто еще ласковее. Эта необычайная дружба после разоблачений, из которых обо мне можно было доставить себе самое нелестное понятие, — доказала мне, что дядюшка Муазеле неразборчив. С этих пор я убедился, что ему более, нежели кому-либо, известно, где скрываются бриллианты Сенара, и что он может сообщить мне о них кое-что, если

пожелает. Однажды вечером, после хорошего обеда, я стал расхваливать ему все прелести жизни на Рейне; он глубоко вздохнул и спросил, есть ли хорошее вино в том краю?

— Ja, ja, — ответил я, — карош Wein и schöne Mamsel!

— Schöne Mamsel тоже?

— Ja, ja.

— Landsmann, я хочу с тобой ехал в Deutschland: вы рады будете?

— Ja, ja, freilich, мой ошень тавольна.

— Ah, вы довольны, хорошо; я оставлю Францию, оставлю старую жену (он показал мне по пальцам, что его супруге 35 лет) и в вашем Vaterland возьму молоденькую девочку, пятнадцать лет, не больше.

— Ja, ja, gut, gut, новый мамзель. А, вы польшой плут!

Муазеле неоднократно возвращался к проекту об эмиграции; он думал об этом серьезно; но, чтобы эмигрировать, надо быть свободным, а нас не очень-то спешили выпустить на волю. Я внушил ему мысль бежать, воспользовавшись первым удобным случаем; он обещал мне, что мы не расстанемся ни на минуту, что он даже не пойдет проститься со своей супругой; с этой минуты я был убежден, что он попадется в расставленные мною сети. Это убеждение вытекало из весьма простого аргумента: Муазеле, рассуждал я, желает следовать за мною в Германию; чтобы путешествовать, надо деньги, а он еще хочет там поселиться на жительство и позволить себе даже прихоть — взять на содержание маленькую немочку. О, наверное, у папаши Муазеле есть на что разгуляться, есть своя черная курочка. Здесь у него денег нет ни гроша, спрашивается, где же скрывается курочка? Я решился узнать это во что бы то ни стало; к тому же мы условились не расставаться.

Лишь только план о бегстве созрел в голове моего любезного друга и он весь проникся мечтами о благополучной Германии, я обратился с письмом к королевскому прокурору,

прося его, в качестве главного агента охранительной полиции, немедленно освободить меня вместе с Муазеле из тюрьмы и отправить его в Ливри, а меня в Париж.

Распоряжение прокурора не заставило себя долго ждать; накануне приведения его в исполнение тюремщик явился к нам и сообщил нам о нашей судьбе; впереди у меня оставалась еще целая ночь, чтобы укрепить Муазеле в его решимости; оказалось, что он крепче прежнего придерживался нашего плана; он был в восторге от моего предложения — как можно скорее вырваться из-под надзора нашего эскорта. Он не мог дождаться рассвета и не спал от волнения. Когда настал день, я дал ему понять, что подозреваю его в воровстве. Он не ответил на мои полушутливые намеки, но улыбался добродушной улыбкой, которая дала мне понять, что я не ошибся. Наконец наступила желанная минута, когда нас вывели из тюрьмы, та минута, которая дает нам возможность выполнить наши планы. Муазеле был готов за целых три часа; чтобы придать ему храбрости, я не позабыл напоить его слегка, и он вышел из тюрьмы под хмельком.

Мы были связаны довольно тоненькой веревкой; дорогой, он глазами дал мне понять, что ее легко будет порвать. Он и не подозревал, что, порвав ее, он уничтожит все мечты, которые лелеял с такой любовью. Чем дальше мы шли, том больше он выказывал мне, что возлагает на меня все свои надежды на спасение; ежеминутно он повторял просьбу не покидать его, а я не переставал уверять его в своей преданности. Наконец приближается решительная минута; веревка разорвана, я перескакиваю через ров, отделяющий нас от чащи леса, Муазеле с легкостью пятнадцатилетнего мальчика следует моему примеру. Один из жандармов слез было с лошади, с намерением преследовать нас, но есть ли какая-нибудь возможность бежать и в особенности скакать через рвы в высоких ботфортах и с длинной саблей; пока он отправился в обход за нами, мы исчезли в чаще — и были таковы…

Тропинка, по которой мы шли, привела нас в лес Вожур. Муазеле вдруг остановился и, бросив зоркий взгляд вокруг себя, направился в чащу кустарника. Нагнувшись, он вытащил оттуда заступ и пошел далее быстрыми шагами, не произнося ни одного слова. Дойдя до березы, у которой, как я заметил, было отломано несколько ветвей, он поспешно снял верхнее платье и шляпу и стад усердно рыть землю; он принялся за это с таким жаром, что дело быстро подвигалось. Вдруг он откинулся назад, и вздох облегчения вырвался у него из груди — это продолжительное ах… показало мне, что он добрался до своего сокровища; еще несколько усилий — и драгоценный ящичек очутился в его руках. Тогда, схватив заступ, я заговорил другим языком и объявил своему приятелю на чистейшем парижском наречии, что он — мой пленник. «Без сопротивления, — сказал я, — или я размозжу вам голову». При этой угрозе он помертвел, как бы не веря своим ушам; но когда почувствовал на своем плече железную руку, заставлявшую трепетать стольких злодеев, он убедился, что это был не сон. Муазеле был кроток, как ягненок; я поклялся, что не упущу его, и сдержал слово. По пути в жандармскую бригаду, куда я должен был представить его, он неоднократно восклицал: «Я погиб! Кто мог бы подумать! У него был такой добродушный вид». Подвергнутый суду присяжных в Версале, Муазеле был приговорен к тюремному заключению на шесть лет.

Сенар был вне себя от радости, когда отыскались его милые бриллианты. Верный своей системе постепенного понижения цены, он наполовину уменьшил вознаграждение, и то еще я с великим трудом выцарапал у него пять тысяч франков, из коих я истратил на дело не менее двух тысяч; — едва-едва мне не пришлось остаться на бобах.

Глава тридцать девятая

Красивый юноша. — Мои четыре ремесла. — Турок, продавший своих одалисок. — Генерал Бушю. — Парадный мундир и банковые билеты. — 20 тысяч франков выскользнули из рук. — Поимка двадцати двух мошенников. — Общий родственник. — Ловеласы. — Полковой священник. — Анакреон в галерах. — Директор полиции. — Разоблачения об убийстве герцога Беррийского. — Великан среди воров. — Сцена a la Жанлис. — Мать и ребенок здоровы. — Крестины. — Моя кумушка попадает в Сен-Лазар. — Повешенный. — Опасные врачи. — Я выдаю цыган. — Версальская ярмарка. — Бессонница содержательницы модного магазина. — Любовь и тирания. — Сцены ревности

Вскоре после трудной экспедиции, имевшей такие роковые последствия для бочара, мне поручено было разыскать виновников кражи со взломом, совершенной ночью из апартаментов принца Конде в Бурбонском дворце. Исчезли громадные зеркала, похищенные с такой осторожностью и необычайной ловкостью, что похитители не разбудили даже двух церберов и консьержа, стороживших у входа. Карнизы, в которые вделаны были зеркала, не были нисколько повреждены, и я тотчас же смекнул, что кража, по всей вероятности, была совершена людьми, знакомыми с зеркальным и обойным ремеслами; но в Париже таких рабочих гибель, и между ними я не знал ни одного, на которого мог бы обратить свои подозрения. Однако мне очень хотелось разыскать виновных — я принялся за дело с жаром и стал собирать справки. Первое полезное сведение доставил мне сторож одного скульптурного ателье, находящегося около сквера Инвалидов; около трех часов ночи он видел неподалеку от своей двери несколько больших зеркал, при которых находился молодой человек, уверявший, что ему поручено перенести их в одно место, а между тем у носильщиков сломались носилки. Два часа спустя молодой человек привел двух посыльных

и с помощью их понес зеркала по направлению к фонтану Инвалидов. По словам сторожа, молодому человеку могло быть не более двадцати двух-трех лет; росту он был небольшого, одет в темно-серый суконный сюртук и отличался довольно красивыми чертами лица. Данные эти не принесли мне непосредственной пользы, но они помогли мне косвенным путем разыскать одного комиссионера, который на другой день после покражи перетаскивал зеркала больших размеров в улицу Сен-Доминик, в отель Караман. Очень вероятно, что зеркала эти были вовсе не то, которые были украдены, и, кроме того, если это были те же самые, то кто мог поручиться мне, что они уже не переменили владельца и не перенесены в другую квартиру. Мне указали лицо, которое принимало их; я решился отправиться туда и, чтобы не возбуждать подозрения, облекся в поварской костюм. Напялив белую куртку и поварской колпак, отличительные признаки моего звания, и проникнувшись духом своей роли, я отправился в отель Карамап. Звоню у одной двери в первом этаже; мне отворяет очень красивый молодой человек и осведомляется, что мне нужно. Я подал ему какой-то адрес и сказал, что ему, кажется, требуется повар; в таком случае я желал бы поступить к нему в услужение.

— Ах, Боже мой, вы, вероятно, ошиблись, друг мой, на вашем адресе обозначено вовсе не мое имя; есть, кажется, две улицы Сен-Доминик — вам придется отыскать другую.

Язык, жесты, манеры, а также одежда красивого юноши, разговаривавшего со мной, тотчас показали мне, к какому сорту людей он принадлежал. Я принял тон человека, посвященного в тайны ультрафилантропов, и после нескольких жестов, значение которых он отлично понял, я выразил ему все свое сожаление, что он не нуждается в моих услугах.

— Ах, сударь, мне очень хотелось бы остаться у вас, хотя бы даже на половинном жалованьи; вы не знаете, как … я несчастен. Вот уже шесть месяцев, как без места, и мне не

каждый день и есть-то приходится… Поверите ли, вот уже тридцать шесть часов, как у меня маковой росинки не было во рту.

— Мне, право, душевно жаль вас, любезный, неужели вы ничего не ели? Войдите сюда, я велю дать вам пообедать.

Я на самом деле был очень голоден, так что мне не трудно было разыграть свою роль; поданный мне обед — двухфунтовый хлебец, половина жареной курицы, кусок сыру и бутылка вина исчезли с изумительной быстротой; утолив свой голод, я стал рассказывать своему хозяину о бедственном положении, в котором находился.

— Посудите сами, — говорил я, — возможно ли быть несчастное меня — я знаю четыре ремесла, и ни одно из них не выручает меня из беды; я и портной, и шляпочник, и повар — все зараз. Прежде всего я занимался ремеслом обойным и зеркальным.

— Зеркальным! — с живостью подхватил мой собеседник.

Не давая ему времени заметить всю необдуманность своего восклицания, я продолжал:

— Да, ремеслом зеркальным и обойным. Это ремесло мне знакомо лучше всех; но дела теперь так плохи, что работы почти не предвидится.

— Вот что, дружок, — обратился ко мне красавец, — выпейте вот эту рюмочку — это водка, она вас подкрепит. Вы представить себе не можете, как я интересуюсь вашей судьбой; я хочу доставить вам работу на несколько дней.

— Ах, право, барин, вы слишком добры, вы выручаете меня из большой беды; по какому ремеслу вы хотите дать мне занятие?

— По ремеслу зеркальщика.

— Если вам понадобится вставлять зеркала в рамы, отделать трюмо или простеночные зеркала, словом, что бы то ни было в этом роде, то я к вашим услугам, вы можете смело доверить мне работу.

— Видите ли, у меня есть великолепные зеркала; они были в моем имении, я велел привезти их в Париж, опасаясь, чтобы господам казакам не пришло в голову разбить их.

— И прекрасно сделали; можно их видеть?

— Да, друг мой.

Он повел меня в отдельную комнату, где я с первого взгляда узнал зеркала Бурбонского дворца. Я стал восхищаться их размерами и чистотой и, рассмотрев их с тщательным вниманием знатока, стал восхвалять ловкость мастера, который выставил их из рам, нисколько не попортив краев.

— Мастер этот не кто иной, как я, — воскликнул он, — я никому не позволил дотронуться до них и собственноручно сложил их даже на повозку.

— Мне не хотелось бы противоречить вам, барин, но, право, то, что вы говорите мне, просто невозможно; надо быть знакомым с ремеслом, чтобы выполнить такие дело, да и то еще самый искусный мастер едва ли мог бы сделать его без посторонней помощи.

Он стал опровергать мое уверение и божиться, что решительно никто не помогал ему. Мне не хотелось прекословить ему, и я перестал спорить.

Мое замечание было в некотором роде любезностью, которая, однако, по-видимому, обидела его; он стал со мною менее любезен и, сообщив мне некоторые инструкции, наказал прийти на следующий день и приняться за работу как можно скорее.

— Не забудьте принести с собою ваш алмаз, мне хотелось бы, чтобы вы сняли долой эти украшения, вышедшие из моды.

Ему нечего было более сообщать мне, с моей стороны ничего не оставалось более выпытывать у него. Я ушел и сообщил моим двум агентам все приметы моего молодчика, приказав им следовать за ним, если бы он вышел из дому. Чтобы совершить арест, необходимо было полномочие;

заручившись им, я снова, но на этот раз в сопровождении полицейского комиссара и двух агентов, явился к любителю зеркал, который вовсе не ожидал видеть меня так скоро. Вначале он даже не узнал меня и только по окончании обыска, оглянув меня повнимательнее, сказал мне:

— Мне кажется, я узнаю вас, не вы ли были поваром?

— Да, милостивый государь, — отвечал я, — к вашим услугам, я повар, и шляпочник, и зеркальщик, и портной, и вдобавок полицейский сыщик. — Мое хладнокровие до такой степени смутило его, что он не имел духу произнести ни слова в ответ.

Господина этого звали Александром Парюит; помимо зеркал и бронзовых канделябров, украденных им из Бурбонского дворца, у него отыскали множество других вещей, приобретенных таким же путем… Инспектора, сопровождавшие меня, взялись отвести Парюита в депо, но по пути имели неловкость выпустить его из рук. Лишь десять дней спустя мне удалось снова схватить его у ворот посланника султана Махмуда; я арестовал его в ту минуту, когда он садился в карету какого-то восточного человека, по всей вероятности, продавшего своих одалисок.

Я до сих пор не мог объяснить себе, каким образом Парюиту удалось, несмотря на непреодолимые препятствия, совершить покражу из Бурбонского дворца. А между тем следствие показало, что у него действительно не было ни одного сообщника; он был приговорен к ссылке в галеры.

Приблизительно в то время, когда Парюит таскал зеркала из Бурбонского дворца, другие злоумышленники забрались ночью в отель Валуа и ограбили маршала Бушю. Сумму убытков определяли в 30 000 франков; воры не пренебрегли ничем — начиная с простого бумажного платка и кончая густыми эполетами генерала; эти господа унесли с собою даже грязное белье, приготовленное для прачки. Эта система — грабить дочиста свою жертву, не оставив ей ни одной тряпи-

цы, — часто бывает гибельна для вора; но на этот раз экспедиция удалась в совершенстве, без малейших промедлений и задержек. Присутствие самого генерала служило им гарантией того, что никто не помешает их предприятию, и они преспокойно обчистили все шкафы и комоды, так же методически и свободно, как какой-нибудь пристав, делающий опись имуществу. Но каким же образом, спросите вы, им удалось это сделать, если сам генерал был в это время дома? Объясняется это очень просто: после, сытного обеда разве можно ручаться за себя? Без опасений, забот и малейших предчувствий человек переходит от шамбертена к кло-де-вужо, от кло-де-вужо к романе; потом, окончив странствие по Бургундии, спускается в веселую Шампань с ее пенящимся Аи. Счастлив тот, кто после такого развеселого путешествия не путается до такой степени, что не в силах более отыскать своей постели! Генерал после подобного банкета воротился домой, хотя и в полном рассудке, но в таком беспомощном положении, что позабыл запереть окно, предоставив таким образом всем охотникам свободный доступ в свои апартаменты. Неправда ли, какая неосторожность? Заснул он, конечно, сном праведных; уж не знаю, что ему снилось, но проснувшись, он очутился обобранным кругом, как липка.

Кого угораздило так безжалостно отделать почтенного генерала? Нелегко было разузнать виновников преступления. Достоверно только то, что они были люди не робкого десятка; не довольствуясь тем, что кругом обокрали почтенного воина, они довели дерзость до того, что воспользовались документами маршала для надобности, вовсе не подходящей, доказав таким образом, что крепче его, пожалуй, никто не спит во всей Франции.

Мне очень любопытно было узнать, кто были дерзновенные, совершившие покражу с такими отягчающими вину обстоятельствами. За неимением определенных указаний, которыми я мог бы руководиться, я повиновался вдохновению,

которое редко обманывало меня. Мне вдруг пришло в голову, что воры, забравшиеся к маршалу, весьма вероятно, имеют сношения с неким жестянщиком Перреном, на которого мне давно уже указывали, как на смелого и верного укрывателя ворованных вещей. Я начал с того, что стал сторожить неподалеку от жилища Перрена, в улице Sonnerie; но по прошествии нескольких дней — так как мои наблюдения не имели никакого результата — я убедился, что необходимо прибегнуть к хитрости. Сам я не мог вступить в личные сношения с Перреном, так как он знал меня, но я подучил одного из своих агентов, на которого он не мог иметь никаких подозрений. Тот отправился к нему; стали толковать о том, о сем, между прочим речь зашла о делах.

— Ну, нельзя похвалиться, — заметил Перрен, — дела неважные!

— Чего же вам еще нужно! — воскликнул агент. — Я думаю, наши молодцы, что побывали в отеле Валуа, не могут пожаловаться. Говорят, в одном парадном мундире было зашито банковых билетов тысяч на двадцать.

Перрен был настолько скуп и жаден, что это известие во всяком случае должно было взволновать его: если мундир в его руках, то он должен был почувствовать безумную радость, которую не в силах был бы скрыть; если же мундир прошел через его руки, то на его лице должно было отразиться противоположное впечатление — я предвидел и то, и другое. Глаза Перрена не просияли, улыбка не появилась на его губах, но лицо его вдруг изменилось; тщетно старался он скрыть свое смущение — досада его была так велика, что он затопал ногами и стал рвать на себе волосы.

— Боже мой, Боже мой, надо же быть таким несчастным! — воскликнул он. — Счастье просто бежит от меня!

— Что с вами? Уж не купили ли вы мундир?..

— Ну да, купил, а потом перепродал.

— Знаете, по крайней мере, кому?

— Как не знать! Плавильщику в пассаже Фейдо, чтобы он выжег золотое шитье.

— Полноте, не отчаивайтесь; может быть, еще можно горю помочь, если он человек честный…

Перрен продолжал бесноваться:

— Шутка ли сказать! 25 тысяч франков! Ведь этого на полу не найдешь. И зачем это я так поспешил?

— Послушайтесь моего совета и возьмите назад шитье, пока оно еще не выплавлено. Если хотите, я беру на себя пойти к вашему приятелю и сказать ему, что вы желаете выкупить мундир, так как вам предлагают купить его для театральных костюмов. Я предложу ему маленький барыш — и дело в шляпе.

Перрен нашел этот план превосходным и принял его с энтузиазмом, а агент, спешивший услужить ему, прибежал уведомить меня обо всем случившемся. Заручившись надлежащим полномочием, я отправился к плавильщику; шитье мундира было еще не тронуто; я поручил своему помощнику возвратить мундир Перрену и в ту минуту, когда он, горя нетерпением поскорее овладеть билетами, схватил уже ножницы, чтобы пороть его, — я появился в дверях в сопровождении комиссара… При обыске у Перрена нашли множество вещественных доказательств постыдной торговли, которою он занимался. Укрыватель, препровожденный в депо, был немедленно подвергнут допросу, но он дал весьма неопределенные показания, из которых довольно трудно было извлечь пользу.

После заключения его в Форс я посетил его и стал уговаривать не утаивать истины; но я мог добиться только нескольких примет и указаний — имена он упорно скрывал под предлогом, что никогда не знал их. Как бы то ни было, но немногие указания, которые он доставил мне, оказали мне некоторую помощь; основываясь на них, я добрался наконец до истины. 22 преступника были уличены и приговорены

к ссылке на галеры; между ними находился один, участвовавший в краже у генерала Буше. Перрен был также осужден как укрыватель, но сделанные им разоблачения послужили смягчающими вину обстоятельствами. Вскоре после этою два других укрывателя, братья Перро, в надежде расположить судей к снисходительности, последовали примеру Перрена, не только сделав признания, но уговорив некоторых заключенных выдать своих сообщников. Пользуясь их указаниями, мне удалось предать в руки правосудия двух воров, пользовавшихся большой известностью — Валентена и Ригади, прозванного Гриндези.

Никогда еще, может быть, в Париже не было такого множества искателей приключений и субъектов, занимавшихся воровской профессией, как во время реставрации. Один из самых смелых и предприимчивых был некто Винтер из Сарлуи.

Винтеру было не более двадцати шести лет; он был из тех красивых брюнетов, которые нравятся женщинам: брови у него были дугой, ресницы длинные, нос орлиный, и ко всему этому — смелый, отважный вид. Винтер был мужчина стройный, высокого роста и походил по виду на офицера легкой кавалерии; поэтому он отдавал предпочтение военной форме, которая выказывала все преимущества его наружности. Сегодня он был гусаром, завтра уланом, в другой раз на нем был какой-нибудь фантастический мундир. Смотря по необходимости, он был то начальник эскадрона, то полковник генерального штаба, то, наконец, адъютант и т. д. Он избирал преимущественно высшие чины и для пущей важности приписывал себе знатную родню; он попеременно выдавал себя то за сына храброго Лассаля, то за известного Винтера, полковника гренадеров императорской гвардии, то за племянника графа Лагранжа и двоюродного брата Рапа, словом, он не стеснялся выдумками, и не было ни одной знатной фамилии, к которой он не принадлежал бы.

Сын довольно состоятельных родителей, Винтер получил блестящее воспитание, дающее ему возможность мистифицировать честных людей; изящество его наружности и манер довершало иллюзию.

Немногим людям удавалось дебютировать так удачно, как Винтер; вступивши с молодых лет в военную службу, он быстро пошел вперед, но, дойдя до офицерского чина, не замедлил лишиться уважения своего начальника; За дурное поведение он был сослан на остров Рео, в один из колониальных батальонов. На месте ссылки Винтер в течение известного времени вел себя настолько хорошо, что все стали верить в его исправление. Но едва успели произвести его в новый чин, как он снова стал пускаться на неблаговидные приключения; в конце концов он принужден был дезертировать, чтобы избегнуть наказания. Тогда он явился в Париж, где в скором времени стяжал себе печальную славу отчаянного мошенника и первостатейного плута; он был поставлен под надзор полиции.

Винтер, пустившись в свою прибыльную карьеру, имел невероятный успех; многие члены высшего общества сделались жертвами его обмана; он посещал князей, герцогов, сыновей бывших сенаторов; на них-то и на дамах, с которыми они вели компанию втайне, он применял свои всесторонние таланты. В особенности дамы, как бы их ни предупреждали на его счет, упорно отказывались верить всему и позволяли грабить себя самым бессовестным образом. Несколько месяцев уже полиция была на поисках за этим соблазнительным юношей, который, постоянно переменяя одежду и местожительство, всегда выскальзывал в ту минуту, когда уже готовились схватить его; тогда, выбившись из сил, полиция поручила мне поймать его.

Винтер был один из тех бессовестных ловеласов, которые, обманывая женщин, всегда грабят их. Я сообразил, что в числе его жертв непременно найдется одна, которая из мести

согласится навести меня на следы этого чудовища. При помощи усердных поисков наконец мне показалось, что я напал на подходящий субъект; но так как покинутые Дидоны часто не расположены приносить в жертву своего коварного любовника, то я решился приступить к ней не иначе, как с крайней осторожностью. Прежде, нежели предпринимать что-нибудь, надо было исследовать грунт; поэтому я и не думал обнаруживать враждебные замыслы по отношению к Винтеру. Чтобы не испугать покинутую красавицу и не оскорбить ее нежных чувств, которые, несмотря ни на какие низкие проступки, не скоро изглаживаются из любящего сердца, я предстал к бывшей любовнице мнимого полковника в виде полкового священника. Моя одежда, разговор, осанка и гримировка вполне гармонировали с моим званием, и я сразу завоевал доверие прелестной покинутой жертвы, которая сообщила мне все нужные сведения. Она дала мне адрес своей соперницы, которая, со своей стороны, уже успела испытать на себе дурное обращение Винтера, но несмотря на это, продолжала видеться с ним и приносить новые жертвы.

Я познакомился и с этой очаровательницей и, чтобы снискать ее расположение, выдал себя за друга ее любовника; я рассказал, будто родители молодого повесы поручили мне уплатить за него долги, и настоятельно просил ее устроить для меня свидание с ним, уверяя ее, что она сама может от этого только выиграть. Г-жа * не прочь была поправить свои средства, потерпевшие некоторый ущерб за последнее время. Однажды утром она уведомила меня запиской, что в тот же день она будет обедать со своим любовником у Гальота, на бульваре Тампль. Переодетый в комиссионера, я с четырех часов стал караулить у дверей ресторана. Я простоял уже на своем посту часа два, как вдруг издали увидел гусарского полковника — это был Винтер, в сопровождении двух лакеев. Приблизившись, я предложил держать лошадей; мои услуги были приняты. Винтер уже слез было с лошади, но, встретив

мой взгляд, одним прыжком вскочил снова на лошадь, пришпорил ее и исчез с быстротою молнии. Я был почти уверен, что он в моих руках, и сильно огорчился неудачей, но, однако, не потерял надежды. Несколько времени спустя меня предупредили, что он будет в такой-то день в Cafe Hardi на Итальянском бульваре; я поспешил туда с двумя агентами, и мы так ловко распорядились, что он ускользнуть не мог и должен был сесть со мной в извозчичью карету. Приведенный к полицейскому комиссару, он имел смелость утверждать, что он вовсе не Винтер; но несмотря на его блестящий мундир и знаки отличия, сейчас же была блистательно доказана его тождественность с личностью, которую мне поручено было арестовать. Винтер был приговорен и тюремному заключению на восемь лет; теперь он уже давно высидел этот срок и был бы выпущен на волю, если бы не подделал фальшивого документа во время пребывания в Бисетре, за что снова был приговорен к галерам на лишних восемь лет. Он отправился в путь храбро, не унывая. Авантюрист этот обладал некоторым дарованием; ему приписывают много песен, весьма распространенных среди каторжников, которые считают его своим Анакреоном.

У Винтера было много сообщников и приятелей, рассеянных по всему Парижу; Тюильри был местом сборища этих блестящих франтов-мошенников, которые вводили в заблуждение публику, навешивая на себя ордена и знаки отличия. В глазах опытного наблюдателя Тюильрийский двор был наполнен приличными разбойниками. Туда стекалась толпа галерников, мошенников, карманников всевозможных сортов, которые выдавали себя за старинных приятелей по оружию Шарета, Ларош-Жакелена, Стофле, Кадудаля и др. В дни военных смотров и приемов во дворец собирались все эти мнимые герои. В качестве главного агента охранительной полиции я счел нужным наблюдать за этими преданными роялистами.

Однажды в воскресенье я стоял на стороже с одним из своих помощников на площади Каруселя; как вдруг мы увидели выходящим из павильона Флоры подозреваемого господина, на которого обращено было всеобщее внимание; по меньшей мере, это был сиятельный вельможа. Весь покрытый галунами и золотым шитьем, он отличался свежестью и блеском своих орденов и оружия… но в главах опытного полисмена не все то золото, что блестит. Мой спутник заметил мне тотчас же, что он находит поразительное сходство между сановником и неким Шамбрелем, с которым он когда-то был товарищем в тулонских галерах. Я также имея случай встречаться с Шамбрелем; подойдя поближе и взглянув ему в лицо, я сейчас же признал бывшего каторжника — это был действительно сам Шамбрель, отъявленный мошенник, который приобрел известность среди каторжников своими частыми побегами. В первый раз он был осужден во время Итальянской кампании. Он сопровождал армию в поход, имея в виду подделывать подписи поставщиков. У него был замечательный талант к такого рода занятию, но он слишком злоупотреблял им и навлек на себя наказание в виде тюремного заключения на три года. Шамбрель не имел терпения высидеть положенный срок. Он бежал в Париж и, чтоб иметь возможность существовать, пустил в обращение множество фальшивых билетов, которые фабриковал сам. Уличенный и на этот раз, он был сослан в Брест на 8 лет. Снова ему удалось бежать; но он никак не мог отстать от своей любимой привычки подделывать подписи и фабриковать фальшивые билеты, так что не замедлил снова попасть в тюрьму, где высидел еще лишних два года. Шамбрель еще находился в заключении, когда герцог Ангулемский проездом посетил город; он воспользовался случаем, чтобы подать на имя герцога прошение, в котором выдавал себя за бывшего вандейца, преданного слугу роялизма, который подвергался за это

преследованиям. Шамбрель был немедленно выпущен на волю и, конечно, по-прежнему воспользовался своей свободой.

В то время, когда мы встретились с ним, он, по-видимому, вел роскошную жизнь, и можно было заключить, что ему повезло счастие; мы проследили за ним некоторое время, и когда последние сомнения исчезли, я подошел к нему и прямо объявил, что он мой пленник. Шамбрель думал запугать и смутить меня длинным перечнем разных титулов и званий, которыми он будто бы обладал. По его словам, он был ни более ни менее, как директор дворцовой полиции, а я презренный негодяй, которого следует немедленно наказать за дерзость. Несмотря на угрозу, я настаивал на том, чтобы он сел со мной в наемную карету; он продолжал сопротивляться, и мы принуждены были употребить силу.

В присутствии самого г-на Анри, директора полиции, нахал нисколько не смутился; напротив, он принял еще более высокомерный тон, который сильно напугал чиновников префектуры — все опасались, уж не ошибся ли я сам. «Право, это просто ни на что не похоже! — кричал в негодовании Шамбрель. — Я требую блистательного удовлетворения и извинения за такую неслыханную дерзость. Я покажу вам, кто я такой, и вы посмотрите, можно ли со мной обращаться так, как обращаетесь вы». Я со страхом ожидал, что перед ним действительно поспешат извиниться, и тогда вся вина обрушится на меня. Хотя и не сомневались в том, что Шамбрель бывший каторжник, но опасались оскорбить в нем человека всесильного, осыпанного милостями при дворе. Но я с энергией настаивал на том, что он наглый обманщик, так что волей-неволей принуждены были произвести у него домашний обыск. Я должен был помогать полицейскому комиссару при исправлении его обязанности; Шамбрель должен был сам находиться при обыске. Дорогой он шепнул мне на ухо: «Голубчик Видок, в моем бюро есть документы, которые

необходимо спрятать; обещай мне сделать это, и ты не раскаешься впоследствии».

— Хорошо, обещаю, — ответил я.

— Ты найдешь их в таком-то ящике с двойным дном, секрет я тебе сейчас объясню. — И он действительно рассказал мне, как приняться за дело. По его указаниям я вынул бумаги из тайника, но присоединил их к тем, которые служили основанием его ареста. Трудно найти мошенника, который довел бы свое искусство до такого совершенства; у него нашли массу дипломов, патентов, различных бумаг с отпечатанными штемпелями «Polise du roi», подписями «Haras de France», приказов военного министра, поддельную корреспонденцию, чтобы ловчее провести шпиона и подтвердить высокие звания, которые приписывал себе Шамбрель. Он якобы вел сношения с самыми высокопоставленными лицами; принцы, принцессы состояли с ним в переписке; но что покажется еще более странным — он имел сношения с префектом полиции и письменный ответ его тут же был занесен в реестр, конечно, ложный.

Обыск пролил такой яркий свет на все его низкие махинации и так блистательно подтвердил мои объяснения насчет Шамбреля, что он был отправлен в Форс, в ожидании суда.

На судебном следствии его никак не могли убедить признаться в том, что он беглый каторжник; он действительно представил подлинные удостоверения в том, что не выезжал из Вандена со II года. Судьи на мгновение были в нерешимости — чьим словам верить: но я подтвердил свои уверения доказательствами до того вескими, что мой Шамбрель был приговорен к каторжным работам пожизненно и сослан в лорианские галеры, где не замедлил приняться снова за свое ремесло доносчика. Во время убиения герцога Беррийского Шамбрель в сообществе с другим мошенником, по прозванию Карет, уведомил полицию, что он имеет сообщить ей нечто весьма важное по поводу этого ужасного преступле-

ния. Шамбреля хорошо знали и не поверили его доносу; но некоторые лица усомнились и поверили, будто действительно у Лувеля были сообщники, и потому потребовали, чтобы Карет был привезен в Париж; дело кончилось тем, что нового все-таки ничего не узнали.

1814 год был одним из самых замечательных во всей моей жизни, в особенности вследствие многочисленных арестов, сделанных мною один за другим. Некоторые из них сопровождались довольно оригинальными обстоятельствами; расскажу здесь один случай.

В течение трех лет полиции было известно, что в Париже совершаются одна за другой более или мене значительные покражи одним злоумышленником, замечательного роста и атлетического сложения. Человек этот был некто Саблен — необыкновенно искусный, смелый и предприимчивый вор; освобожденный на волю после продолжительного заключения, он снова принялся за свое ремесло, набравшись опыту в тюрьме. Самые чуткие полицейские гончие были направлены на поиски за Сабленом; но как они ни старались — он выскальзывал у них из рук, и напасть на его следы не было никакой возможности. Все полисмены наконец утомились преследовать невидимку, и мне поручена была нелегкая задача изловить его, если только мне посчастливится более других. В течение пятнадцати месяцев я делал все что мог, чтобы наконец встретить его; ловкий Саблен появлялся в Париже от времени до времени всего на несколько часов; едва успевал он выкинуть какую-нибудь скверную штуку, как уже скрывался бесследно — неизвестно даже, каким путем. Из всех полицейских один я еще знал Саблена в лицо, и поэтому он опасался меня более остальных агентов. Он был довольно зорок и так ловко избегал меня, что мне ни разу не случилось даже видеть его тень. Но я не легко терял терпение — настойчивость была из моих добродетелей; разузнав, что Саблен поселился на жительство в Сен-Клу и нанял там квартиру, я отправился туда

на ночь. Приехав на место, промокши до костей, я даже не позаботился просушить свое платье и горел нетерпением проверить, справедливы ли полученные мною сведения о новом жильце очень высокого роста, который в сопровождении женщины недавно перебрался в дом мэрии.

Люди ростом в пять футов десять дюймов — явление не совсем обыкновенное, даже среди патагонцев; я не сомневался в том, что мне верно указали местожительство Саблена. Было слишком поздно тотчас же идти туда, и я отложил свой визит до следующего дня, но чтобы быть уверенным, что мой молодчик не выскользнет у меня из рук, я решился, несмотря на проливной дождь, провести ночь на стороже у его дверей. Я действительно продежурил на улице всю ночь с одним из своих агентов. Утром, на рассвете, кто-то отворил дверь; я тихонько проскользнул с тем, чтобы убедиться — не пора ли действовать. Но пройдя несколько ступеней по лестнице, я вдруг остановился, услышав чьи-то шаги… Вниз сходила какая-то женщина, с бледным, истощенным лицом, на котором было написано страдание. Увидев меня, она пронзительно вскрикнула и вернулась наверх. Я последовал за ней в квартиру, от которой ключ был у нее. Я услыхал свое имя, произнесенное шепотом, с выражением ужаса: «Это Видок!»

В соседней комнате на кровати лежал мужчина: он поднял голову, и я узнал Саблена. Бросившись на него прежде, нежели он успел опомниться, я надел на него ручные кандалы.

Во время этой операции хозяйка упала на стул и разразилась раздирающими душу стонами; она ломала руки, рвала на себе волосы и, казалось, страдала невыносимо.

— Скажите, пожалуйста, что с вашей женой? — спросил я у Саблена.

— Да разве вы не видите, что она родить собралась. Всю ночь была та же история; когда вы ее встретили, она шла к бабке.

В это время стоны и крики усилились: «Боже мой, Боже мой, я умираю, нет сил… господа, сжальтесь надо мною. Господи, как я страдаю! Помогите, караул!!.».

Вскоре несчастная женщина не была даже в силах кричать — из груди ее вылетали отрывистые звуки. Надо быть каменным, чтобы не тронуться такими мучениями. Но что же делать? Очевидно, что бабка была бы далеко не лишней… но кто за ней пойдет? Вдвоем нас как раз достаточно, чтобы сторожить такого великана, как Саблен… Выйти самому мне не было возможности, — но не мог же я также решиться погубить женщину. Положение мое было критическое — я колебался между долгом и чувством сострадания. Внезапно мне пришло в голову историческое происшествие, рассказанное г-жой Жанлис; я вспомнил великого монарха, который исполнял при родах Лавальер обязанность акушера. Отчего же бы и мне не последовать его примеру. Живей за дело. В одну минуту я сбросил с себя верхнее платье, и через полчаса мадам Саблен разрешилась от бремени прелестным сыном. Я запеленал малютку, совершив обряды, обычные при появлении в свет; когда все было окончено, любуясь на свою работу, я имел счастье убедиться, что мать и ребенок находятся в цветущем состоянии.

Оставалось исполнить еще одну формальность — занесение новорожденного в гражданский список. Мы охотно подписались свидетелями. «Ах, мосье Жюль, — обратилась ко мне роженица, — пока еще вы не ушли, окажите нам еще великую услугу».

— Что такое?

— Право, не смею даже выговорить.

— Не стесняйтесь, говорите, если только я могу…

— Видите ли, у нас нет крестного отца, не можете ли вы взять это на себя?

— С удовольствием. Где же крестная мать?

Мадам Саблен попросила нас позвать одну из своих соседок, и мы все вместе отправились в церковь для совершения обряда крещения, в сопровождении Саблена, которого я поставил в невозможность бежать. Вся эта церемония стоила мне не менее пятидесяти франков, а между тем дело обошлось без обычных при крестинах конфет (драже).

Несмотря на свое глубокое огорчение, Саблен был так тронут моими благодеяниями, что осыпал меня выражениями своей благодарности.

После сытного завтрака, принесенного из трактира в комнату роженицы, я увез ее мужа в Париж, где он был приговорен к тюремному заключению на пятилетний срок. Сделавшись помощником привратника в Форсе, Саблен нашел возможность в этом новом звании жить с достатком, мало того, скопить себе за счет арестантов и посетителей тюрьмы маленькое состояньице, которое он намеревался разделить со своей супругой; но когда его освободили, оказалось, что моя любезная кума, мадам Саблен, которая имела обыкновение присваивать себе чужую собственность, сидела в заключении в Сен-Лазаре. Очутившись одиноким, без хозяйки, Саблен, как и многие другие, свихнулся окончательно. В один прекрасный вечер, забрав с собою все свое достояние — плод своей бережливости, он отправился в игорный дом и спустил все дочиста. Два дня спустя его нашли повесившимся в Булонском лесу: он для этого избрал одно из деревьев так называемой «Аллеи воров».

Немало труда мне стоило, как вы видели, предать Саблена в руки правосудия. Конечно, если бы все поиски сопровождались такими затруднениями, меня бы просто не хватило; но почти всегда гораздо легче было добиться успеха, часто даже до такой степени легко, что я сам приходил в изумление. Несколько дней спустя после моего приключения в Сен-Клу Себильот виноторговец в улице Шарантон № 145 подал жалобу, что его обокрали; согласно его заявлению, во-

ры пробрались к нему в окно, вскарабкавшись по лестнице между седьмым и восьмым часом вечера, и похитили у него тысячу двести франков звонкой монетой, двое часов и шесть серебряных приборов. Ни снаружи, ни внутри не было заметно взлома. Словом, обстоятельства, сопровождавшие похищение, были до того странны и необъяснимы, что стали подозревать самого Себильота в обмане. Но после разговора, который я имел с ним, я убедился в истине его слов.

Себильот был человек зажиточный, дом его был полной чашей, поэтому я не видел никаких оснований подозревать его во лжи; однако покража была такого свойства, что могла быть совершена разве кем-нибудь из домашних или хорошо знакомым с расположением дома. Я стал допрашивать Себильота, кто чаще всего посещал его заведение. Назвав мне несколько имен, он прибавил:

— Вот и все, больше никто и не приходил, кроме тех иностранцев, которые вылечили мою жену — бедняжка была больна целых три года, а теперь, после их лекарства, как рукой сняло.

— Часто вы с ними виделись, с этими иностранцами?

— Они приходили сюда обедать и ужинать, а вот с тех пор, как жене лучше стало, их видно только изредка.

— Знаете ли вы их — этих людей? Может быть, они заприметили…

— Ах, милостивый государь, — воскликнула в негодовании мадам Себильот, участвовавшая в разговоре, — ради Бога, не подозревайте их, они люди честные, у меня на это есть доказательства.

— О, да, — подтвердил муж, — у нее есть доказательства — это верно. Расскажи-ка нам, знаешь, то…

Мадам Себильот начала свой рассказ:

— Да, г-н Видок, они люди честные — готов голову дать на отсечение. Словом, представьте себе, недели две тому назад, как раз после получения денег за квартиры, я была занята

пересчитыванием их, как вдруг вошла одна из женщин, которые с ними обыкновенно ходят: это была та самая, которая мне дала лекарство и вылечила меня, не взяв за это ни копейки, уверяю вас. Конечно, я с радостью приняла ее, посадила возле себя и, пока я раскладывала деньги по кучкам по сто франков, она заметила одну монету, на которой еще, знаете ли, изображен такой толстый старик, со шкурой звериной на плечах, как у дикого, и с палкой в руках… А, сказала она, много у вас таких монет?

— А вам зачем? — ответила я.

— Видите ли, это стоит сто четыре су. Сколько у вас их найдется, столько мой муж у вас и возьмет, отложите их только в сторону.

Я думала, что она шутит, но вечером я очень удивилась, когда она опять пришла с мужем; мы снова сосчитали наши деньги; между ними нашлось триста монет по сто су, которые они выбрали для себя, — я их уступила, и они отсчитали мне шестьдесят франков барыша. Вот вы и судите после этого, честные они люди, или нет, — ведь они могли везде получить монеты без придачи барыша.

Из слов мадам Себильот я мог составить себе понятие, с какого рода людьми она имела дело; мне нетрудно было догадаться, что виновниками покражи были не кто иной, как цыгане. Страсть к мене — отличительный признак их расы, и к тому же мадам Себильот, описав их наружность, окончательно подтвердила мои предположения. Заручившись такими драгоценными сведениями, я покинул обоих супругов и с этой минуты стал относиться подозрительно ко всем смуглым лицам. Тщательно отыскивая место, где бы мне удалось видеть побольше представителей этой расы, я наткнулся в одном трактире в улице Тампль, известном под названием «Maison Rustigue», на двух субъектов с оливковым цветом лица и странными ухватками; один вид их пробудил во мне воспоминания о моем пребывании в Мехельне. Подхожу к

ним, и кого же вижу? Христиан, с одним из его товарищей, также знакомым мне. Протянув руку Христиану, я приветствовал его, назвав Кароном. Он с удивлением разглядывал мои черты в продолжение нескольких минут и вдруг, озаренный давнишним воспоминанием, воскликнул, бросившись мне на шею с восторгом: «А, старый дружище — тебя ли я вижу!»

Мы так давно не виделись, что, встретившись снова, после первых приветствий, осыпали друг друга разнообразными вопросами. Христиан полюбопытствовал узнать, почему я так внезапно уехал из Мехельна, не предупредив его; я выдумал какую-то сказку, которой он будто бы поверил.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, — правда ли это, нет ли, мне все равно — а главное дело, я опять нашел тебя. А другие-то! Вот рады будут увидеть тебя. Ты знаешь, ведь все они в Париже — Карон, Лангарин, Рюфлер, Мартен, Сиск, Мих, Литль, даже тетушка Лавио — и та с нами… и Бетш… Помнишь ведь маленькую Бетш…

— Ах, это жену-то твою?..

— Вот рада-то будет. Если завернешь сюда часов в шесть, то увидишь всю компанию в сборе. Мы назначили тут рандеву, чтобы идти всем вместе в театр. Надеюсь, ты не откажешься присоединиться к нам. Теперь уж конечно, ты с нами, и мы больше не расстанемся. Ты еще не обедал?

— Нет еще.

— Ну и я также; пойдем вместо к «Капуцину»; тут недалеко, в двух шагах, на углу улицы Ангулем.

Трактир и кабак под карикатурной вывеской францисканскою монаха пользовался в это время предпочтением известного люда, в глазах которого количество имеет преимущество перед качеством; к тому же для людей, празднующих воскресные дни и даже понедельники, и для бонвиванов, гуляющих по целым неделям, весьма отрадно иметь такое место, где они могут получить сносный обед и,

не оскорбляя никого, являться в разных видах, во всевозможных костюмах и во всех степенях опьянения.

Вот какие преимущества представлял «Капуцин» для известного рода публики, уже не считая громадной, всегда открытой табакерки, из которой всякий мог черпать по желанию. Было около четырех часов, когда мы поместились в этом пристанище свободы и наслаждения. До шести часов еще долго было ждать; мне ужасно хотелось поскорее вернуться в «Maison Rustigue», где должны были собраться приятели Христиана. После обеда мы отправились туда; их было шестеро; подойдя к ним, Христиан заговорил на своеобразном языке. С первых слов меня окружили, осыпали приветствиями, каждый из них поочередно заключил меня в свои объятия, на всех лицах так и сияло неподдельное удовольствие.

— Сегодня обойдется и без театра! — в один голос воскликнули цыгане.

— Ваша правда, ребята, — ответил Христиан, — успеем пойти и в другой раз, а теперь выпьем, ребята, выпьем.

— Выпьем! — дружно подхватили цыгане.

Вино и пунш лилось рекою. Я пил, ел, смеялся, но дела своего не забывал. Я зорко наблюдал за лицами, жестами, выражениями физиономий — ни одна мелочь не ускользнула от моего внимания.

Припомнив некоторые указания, доставленные мне четой Себильот, я пришел к убеждению, что не кто иной, как Христиан или его товарищи — виновники воровства, заявленного в полиции. Втайне я от души радовался, что так кстати заглянул в трактир под вывеской «Maison Rustigue». Но недостаточно было только открыть виновных: я выждал, пока головы моих собеседников достаточно отуманились парами алкоголя, и когда у всей честной компании стало двоить в глазах, я впопыхах выбежал из трактира в театр Gaite и, вызвав дежурного офицера, уведомил его, что я в таком-то трактире в компании

воров, и условился с ним, что через час, много через два, он велит арестовать всех нас гуртом, мужчин и женщин.

Исполнив это дело, я быстро вернулся в трактир. Мое непродолжительное отсутствие не было даже замечено, но в десять часов вечера дом был оцеплен; в зал вошел полицейский офицер с целою свитою жандармов и полисменов; каждого из нас связали отдельно и повлекли на гауптвахту. Там всех нас подвергли повальному обыску; Христиан, выдававший себя за Гирша, тщательно пытался скрыть серебро, украденное у честного Себильота, а его подруга, величавшая себя г-жой Вильмэн, не могла, несмотря на все свои старания, утаить при обыске двое золотых часов, упомянутых в заявлении; остальные члены компании также принуждены были выгрузить из карманов целую груду золотых и серебряных вещей, добытых тем же путем.

Мне очень любопытно было узнать, какие размышления вызвало это происшествие у моих старых товарищей; мне показалось, что я не внушаю им ни малейшего недоверия, и, действительно, я не ошибся; едва успели нас посадить в заключение, как они хором стали извиняться передо мной в том, что были невольной причиной моего ареста.

— Ты ведь не сердишься на нас, не правда ли? — обратился ко мне Христиан. — Ну какой черт мог угадать, что случится? Ты хорошо сделал, сказав, что не знаешь нас, будь покоен, мы покажем то же самое. Ведь у тебя не нашли ничего компрометирующего, и ты можешь быть совершенно уверен, что долго тебя не задержат. — Христиан посоветовал мне не обнаруживать его настоящего имени и имени его товарищей. — Впрочем, — прибавил он, этот совет совершенно излишний, ты не менее нас самих заинтересован в том, чтобы соблюсти тайну.

Я предложил цыганам свои услуги, как только буду выпущен на свободу; в надежде, что это не замедлит случиться, они сообщили мне свои адреса, с просьбой при первой

возможности предупредить их сообщников. Около полуночи комиссар освободил меня под предлогом подвергнуть допросу, и мы тотчас же отправились на рынок Ленуар, где проживала пресловутая «герцогиня» и трое других приятелей Христиана. После обыска, доставившего нам достаточные доказательства их виновности, мы арестовали всех четверых.

Шайка цыган состояла из двенадцати человек: шести мужчин и шести женщин; все они были приговорены кто к заключению, кто к каторге. Виноторговец из улицы Шарантон получил обратно свои золотые вещи, свое серебро и большую часть своих денег. Мадам Себильот была вне себя от счастья. Лекарство, которое дали ей цыгане, поправило отчасти ее слабое здоровье, но известие о находке мужниных денег вылечило ее окончательно. Приобретенный ею опыт, по всей вероятности, не прошел даром, не раз приходилось ей вспоминать в жизни, что когда-то она чуть-чуть было не попалась, променяв пятифранковые монеты с барышом — «пуганая ворона», как говорит пословица, «куста боится».

Моя встреча с цыганами была необыкновенно счастливой случайностью, но в течение моей восемнадцатилетней службы при полиции мне не раз случалось встречаться и сближаться с лицами, с которыми имел сношения в своей бурной молодости. Не могу при этом не рассказать об одном, довольно забавном случае, по поводу нелепого заявления в полицию, какие мне приходилось выслушивать чуть ли не каждый день.

Однажды утром, когда был занят составлением отчета, мне доложили, что дама, очень элегантно одетая, желает меня видеть, как она говорит, по очень важному делу. Я велел попросить ее войти. Входит.

— Прошу извинения, что беспокою вас; так это вы г-н Видок, с ним я имею честь говорить?

— Так точно, сударыня, чем могу служить вам?

— О, многим, мосье Видок. Вы можете возвратить мне сон и аппетит… Я не смыкаю глаз и не ем ни крошки… Боже мой, какое несчастье иметь чувствительное сердце!.. Ах, как мне жаль людей с нежными чувствами; уверяю вас, это печальный дар Божий… Он был так мил, так хорошо воспитан… Если бы вы знали его, то не могли бы не полюбить его… Бедный мальчик!..

— Но, сударыня, объяснитесь, Бога ради, мое время дорого…

— Ах, он был моим единственным утешением…

— Да в чем же, наконец, дело, смею спросить?

— Право, нет сил объяснять вам на словах (порывшись в своем саквояже, она вынула оттуда печатный листок и подала мне). Прочтите-ка лучше сами.

— Что же вы мне даете? Ведь это уличные афиши!.. Наверное, вы ошиблись.

— Ах, когда бы так, я больше ничего не желала бы. Прошу вас, обратите внимание на № 32740, я так огорчена, что не могу сказать более ни слова… (Из глаз моей посетительницы льются обильные слезы, слова замирают на ее устах, грудь волнуется от рыданий, она задыхается). Боже мой, я не могу дышать… я чувствую что-то ужасное… Ай, ай… а… а… а…

Я предложил ей стул и, пока она предавалась своей горести, отыскал № 32740 под рубрикой утерянных вещей и прочел (страничка была орошена слезами): «Маленькая комнатная собачка, длинная, шелковистая шерсть серебристого цвета, уши, ниспадающие до земли, над глазами запалины; физиономия необыкновенно смышленая, она очень ласкова в обращении, кушает только птичье мясо и слушается клички: «мальчик, мальчик», произнесенной ласковым голосом. Хозяйка собачки в отчаянии. Пятьдесят франков вознаграждения тому, кто доставит ее в улицу Тюревн, № 23».

— Итак, сударыня, что же вам угодно, чтобы я сделал для вашего «мальчика»? Собаки не входят в круг моих действий.

Я вполне верю, что ваш пес был совершенством во всех отношениях…

— Ах да, совершенством, именно совершенством! — вздохнула дама тоном, раздирающим душу. — А как умен-то!.. такого и не найти, а от меня не отходил ни на шаг… Бедный, милый мальчик!.. Поверите ли вы, во время молитвы и богослужения он казался таким набожным и смиренным, как я сама. В прошедшее воскресенье мы вместе отправились к обедне, я держала его под рукой. Только знаете, перед тем, как войти в церковь, я спустила его с рук для известной надобности, а сама отошла шага на два, чтобы не мешать ему; когда я оглянулась через минуту… о ужас!.. «мальчика» уже не было… Я стала звать его… напрасно. Я пропустила начало обедни и побежала за ним. Судите же о моей горести — я не могла отыскать его. Поэтому-то я и пришла к вам с покорнейшей просьбой послать разыскать его. Я заплачу все, что угодно; но Бога ради, чтобы с ним обращались понежнее. Я отвечаю в том, что он невинен.

— Право, сударыня, невинен он или нет, до этого мне нет никакого дела; ваше заявление вовсе к нам не относится; если бы нам приходилось заниматься собаками, кошками, птицами и т. д., то мы никогда бы и не кончили своих дел.

— Хорошо же, сударь, если вы так относитесь к моей просьбе, то я обращусь к Его Святейшеству. Неужели же нельзя сделать любезность для благонамеренных людей? Знаете ли, что я принадлежу к конгрегации и что…

— Хоть бы самому черту принадлежали вы, и то мне все равно! — воскликнул я, но далее продолжать не мог: внимательно посмотрев на мою собеседницу, я поразился особенности ее фигуры, которую вначале я не заметил. Это открытие заставило меня расхохотаться так громко и искренно, что моя собеседница остолбенела.

— Неправда ли, я очень смешна, неправда ли? — воскликнула она. — Смейтесь, милостивый государь, если вам так весело!

— Извините меня, сударыня, — сказал я, когда моя шумная веселость стала немного утихать, — сначала я не знал, с кем имею дело, теперь я знаю, о чем нужно говорить с вами… Итак, вы очень печалитесь о потере «мальчика»?

— Ах, я, кажется, не переживу своего несчастия!..

— Так вы никогда не испытали более тяжкой потери, потери, например, близкого лица?

— Никогда, мосье Видок.

— А между тем у вас был же муж, сыновья, дочери, любовники…

— Милостивый государь, вы забываетесь!.. как вы осмелились…

— Да, мадам Дюфло, у вас были любовники, у вас они были. Вспомните одну ночь в Версале…

При этих словах она внимательнее осмотрела меня, побагровела и, вскрикнув, — «Эжен!» — выбежала из комнаты.

Мадам Дюфло была та самая модистка, у которой я состоял некоторое время приказчиком, когда бежал в Париж, чтобы избегнуть преследований Аррасской полиции. Странная была женщина эта мадам Дюфло: голова у нее была великолепная — гордый взгляд, брови дугой, чело величественное; довольно большой рот ее с приподнятыми кверху уголками был украшен зубами ослепительной белизны; черные как смоль волосы, орлиный нос и маленькие усики на верхней губе придавали ее физиономии нечто величественное. Одна беда — спереди и сзади у нее красовались два больших горба, красивая голова совсем ушла в плечи, и вся фигура напоминала полишинеля. Когда я встретил ее в первый раз, ей было около сорока лет; одевалась она всегда очень изящно и франтовски и имела притязание на царственную осанку, но с высоты своего высокого стула, с коленками, высоко упирающимися в конторку, она больше походила на божка какой-нибудь индийской пагоды, нежели на царицу Семирамиду.

Увидев ее, важно восседающую на своем троне, я с трудом удержался от смеха; но, однако, чтобы не нарушить подобающей случаю торжественности, овладел собою и скрыл свое веселое настроение под видом глубочайшего уважения. Мадам Дюфло вынула из-за пояса громадный лорнет и, надев его на нос, стала пристально разглядывать меня с ног до головы.

— Что вы желаете, милостивый государь? — спросила она. Я приготовился отвечать, но меня перебил приказчик, взявший на себя рекомендовать меня, и сообщил ей, что я тот самый молодой человек, о котором он говорил ей. Она снова окинула меня взглядом и спросила, знаком ли я с торговыми делами. Я молчал, так как на деле ничего не смыслил в коммерции. Она повторила свой вопрос тоном нетерпения, и я принужден был объясниться.

— Сударыня, — сказал я, — дело это совершенно для меня новое, но с терпением и старанием надеюсь, что мне удастся угодить вам, в особенности, если вы будете так добры помочь мне вашими советами.

Ответ понравился ей.

— Вы мне нравитесь, — сказала она, — люблю откровенность; итак решено, я принимаю вас, вы замените Теодора.

— Я к вашим услугам, сударыня, когда вам будет угодно.

— В таком случае я вас оставляю у себя с сегодняшнего дня. Я беру вас на испытание.

Мое водворение на новом месте состоялось тотчас же. В качестве младшего приказчика мне приходилось постоянно переходить из магазина в рабочую, где сидели за шитьем разных женских нарядов до двадцати молоденьких девушек, одна лучше другой. Очутившись среди такого роскошного букета юных красавиц, я вообразил себя в серале и, бросая страстные взоры то на блондинку, то на брюнетку, приготовлялся бросить платок. Но вдруг на четвертый день моей службы мадам Дюфло, которая, вероятно, заметила наши перемигиванья, позвала меня в свой кабинет. «Мосье

Эжен, — сказала она строгим голосом, — я очень недовольна вами; не успели вы пожить у меня несколько дней, как уже питаете преступные замыслы на моих барышень. Предупреждаю вас, что мне это крайне, крайне неудобно».

Сконфуженный этим заслуженным упреком и ломая себе голову, как она могла угадать мои намерения, я ответил ей несколькими уклончивыми извинениями. «Полноте, не оправдывайтесь, — возразила она, — я знаю, что в ваши года вы никак не можете обойтись без сердечной склонности; но эти барышни не подходят вам ни в каком отношении. Они слишком молоды — это первое, и потом у них нет никаких средств. Для молодого человека необходимо иметь кого-нибудь постарше, с известными средствами, чтобы удовлетворять его потребностям».

Во время этого наставления мадам Дюфло, небрежно развалившись на кушетке, закатывала глаза самым отчаянным образом. К счастью, появилась горничная и объявила ей, что ее спрашивают в магазине.

Тем и кончился этот разговор, доказавший мне необходимость отныне быть осторожнее. Не отказавшись от своих преступных планов, я делал вид, что не обращаю ни малейшего внимания на миленьких модисточек, и мне удалось провести зоркую наблюдательность строгой хозяйки. Она наблюдала за малейшим моим словом, жестом и взглядом, но заметила только одно — быстроту моих успехов. Я был в ученьи не более месяца, а уже умел с ловкостью опытного приказчика продать шаль, франтовское платье или шляпку. Мадам Дюфло была в восторге, она даже объявила мне, что если я буду продолжать следовать ее советам, то она надеется сделать из меня настоящего делового человека.

— Бога ради, только без фамильярностей с моими девицами, слышите ли, мосье Эжен? И потом — еще одно замечание — пожалуйста, не относитесь небрежно к своему туалету; это так мило — мужчина тщательно одетый! Впрочем,

предоставьте это мне, отныне я буду заботиться о вашем платье, и посмотрите, какого я из вас сделаю амурчика.

Я поблагодарил свою добрую хозяйку за ее попечения, но, опасаясь ее причудливого вкуса, сказал ей, что такое превращенье будет невозможно и что поэтому ее труды будут излишними, но что я всегда с готовностью буду следовать всем ее добрым советам.

Несколько времени спустя (это было дня за четыре до праздника св. Луи) мадам Дюфло объявила мне, что она намерена по обыкновению отправиться на ярмарку в Версаль с частью своих товаров и что я должен сопровождать ее в этой экскурсии. На следующий день мы пустились в путь и по прошествии сорока восьми часов уже расположились на ярмарочном поле. В лавке мы оставили слугу сторожить на ночь наши товары, а сами поместились в постоялом дворе. Моя хозяйка потребовала две комнаты, но вследствие большого стечения иностранцев на ярмарку нам могли отвести всего одну комнату; нечего делать, пришлось покориться своей участи. Вечером мадам Дюфло велела принести большую ширму и разгородила комнату надвое, так что у каждого из нас был свой уголок. Перед сном хозяйка читала мне наставления в продолжение целого часа. Наконец настало время идти спать; я пожелал ей покойной ночи и через две минуты был уже в постели. Вскоре из-за ширм послышались глубокие вздохи, я объяснил их усталостью моей хозяйки: ведь шутка ли, целый день приходилось устраиваться и хлопотать! Я потушил свечу и уснул сном праведным. Вдруг спросонья мне послышалось, что кто-то тихо произносит мое имя: «Эжен»… Это мадам Дюфло, это ее голос. Я не отвечаю. «Эжен», снова взывает она, «хорошо вы заперли дверь?»

— Да, сударыня.

— Мне кажется, вы ошибаетесь, посмотрите еще раз, прошу вас, и в особенности хорошенько задвиньте засов; в

этих постоялых дворах мало ли что может случиться. Никогда не лишнее принять предосторожности.

Я повиновался и, уверившись, что все в порядке, снова лег в постель. Едва успел я повернуться на левый бок, как моя барыня снова начинает ныть и жаловаться. «Какая отвратительная постель! Я вся изъедена клопами, нет никакой возможности сомкнуть глаз. А вы, Эжен, не страдаете от этих невыносимых животных?» Я притворяюсь спящим, она продолжает: «Эжен, да отвечайте же, есть у вас клопы?»

— Право, сударыня, до сих пор я не чувствовал…

— Ну, счастливы же вы, поздравляю вас, а меня так и грызут эти чудовища, я вся покрыта волдырями, да какими… ну, если это продолжится, я не сомкну глаз во всю ночь.

Я молчал, но мадам Дюфло, выведенная из себя невыносимыми страданиями и, не зная что делать, стала кричать во все горло: «Эжен, Эжен, да встаньте же ради Создателя, ступайте к трактирщику и принесите свечу; должна же я наконец прогнать этих отвратительных чудовищ! Поскорей, друг мой, я как в огне горю».

Я сошел вниз и вернулся с зажженной свечой, которую поставил на ночном столике около постели моей барыни. Я был, само собой разумеется, в полнейшем дезабилье и поэтому поспешил удалиться, отчасти, чтобы пощадить целомудрие мадам Дюфло, отчасти, чтобы самому не поддаться соблазну обнаженных прелестей моей хозяйки. Но едва успел я скрыться за ширмами, как мадам Дюфло закричала благим матом:

— Боже мой, какой ужас, — это просто чудовище! Какая необыкновенная величина, право, я не в силах буду убить его; какая быстрота… как скоро он бежит! Эжен, подите-ка сюда, прошу вас!..

Отступить не было никакой возможности; как современный Тезей, я рискнул подойти к постели.

— Где он, этот Минотавр? — сказал я; давайте-ка я лишу его жизни.

— Умоляю вас, мосье Эжен, — не шутите в такую минуту… Вот, вот он опять, видите — под подушкой? Теперь здесь… Удивительная быстрота, он как будто предчувствует, какая участь его ожидает.

Я тщетно старался увидеть хотя тень ужасного животного. Я искал повсюду, куда он мог только забраться; что я только ни делал, чтобы отыскать его — напрасный труд. Сон овладел нами во время этого занятия; пробудившись и вспомнивши о прошедшем, я должен был, к прискорбию моему, сознаться, что если мадам Дюфло была счастливее супруги Пентефрия, то я, напротив, далеко не обладал добродетелью Иосифа.

С этого времени мне поручено было каждую ночь наблюдать за тем, чтобы барыню не беспокоили эти ужасные клопы. Зато моя дневная работа сделалась значительно легче. Меня окружили заботами, попечениями, маленькими подарками и лакомствами; меня одевали, обували, кормили и поили на счет казны, я пользовался щедрыми милостями самой принцессы. К несчастью, принцесса страшно ревновала меня и поступала со мной деспотически. Во многих отношениях мадам Дюфло не прочь была потешать меня сколько душе угодно, но, с другой стороны, она приходила в ярость, как только я бросал взгляд на другую женщину. Наконец, выведенный из себя этой невыносимой тиранией, в один прекрасный вечер я объявил ей, что решился освободиться из-под ее власти.

— А, так вот как! — воскликнула она. — Вы хотите бросить меня, посмотрим! — и, схватив нож, она бросилась на меня, чтобы пронзить мне сердце. Я остановил ее руку и успокоил ее гнев, обещав остаться с условием, что она будет благоразумнее. Она обещала, но на другой же день зеленые шторы были повешены на стеклянных дверях комнаты, где я обыкновенно сидел с тех пор, как исключительно занимался

бухгалтерией по желанию моей хозяйки. Такая мера была мне тем более неприятна, что с этих пор не было никакой возможности наблюдать за прелестным населением рабочего ателье. Наконец мое заключение сделалось до такой степени тяжелым, что все заметили слабость, которую питала ко мне сама барыня. Девицы ее магазина, которые не прочь были посердить ее, являлись ко мне ежеминутно, то под тем, то под другим предлогом; бедная мадам Дюфло испытывала несказанные мучения… Ежечасно, ежеминутно я должен был выслушивать выговоры, с утра до вечера у нас были бесконечные сцены. Наконец я не в силах был выносить эту адскую жизнь. Чтобы избегнуть скандала, который был бы весьма опасен в моем положении (я был беглый каторжник), я тайно взял место в дилижансе и бежал. Мог ли я подозревать в то время, что лет через двадцать мне случится встретить в бюро полиции маленькую горбунью улицы Сен-Мартен. Недаром говорит пословица — «только гора с горой не сходятся»…

Конец второго тома

Оглавление

Эжен Франсуа Видок

Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции

В трех томах

Том первый

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16